

Никон Сочихин

Периферия

Повесть о детях 1935 – 1945 годов рождения –
последних идеалистах страны.

С благодарностью и поклоном:

- другу моему Альберту Бударину за его чудесные письма – лучшие страницы этой книжки;
- Виктору Александровичу Сухушину – директору Усть-Чижапского детского дома, воспитателям и работникам его, воспитанникам – мальчишкам и девочкам тех лет;
- директору и учителям Усть-Чижапской семилетней школы;
- всем жителям деревни.

***От чистого сердца
Никон Сочихин***

Набор, компьютерная верстка *Котеговой Т.И.*
Корректоры: *Дмитриева В.И., Синявская Н. Г.*
© Оригинал-макет *Котеговой Т. И.*
© Дизайн обложки *Булавко М. Н.*

ISBN 5-9528-0038-6

Сдано в набор 19.07.05. Подписано в печать 16.08.05. Бумага офсетная.
Формат 70 X 108 ¹/₃₂. Печать офсетная. Тираж 250 экз. Заказ № 980.

Отпечатано в ОАО «Издательство «Красное знамя», г. Томск, пр. Фрунзе, 103.

Однажды мы с другом Альбертом решили (твердо решили) съездить в деревню Усть-Чижапку, что в Каргасокском районе на севере Томской области.

Там, в 30-х, 40-х и 50-х годах находился детский дом, в котором мы воспитывались в свое время.

Решили?

Решили!

По Томи и Оби приплыли, можно сказать, прилетели на «Метеоре» в Каргасок.

Здесь Обь делает хоть и плавный, но поворот вправо, и поэтому левый берег подмывает.

Он укреплен. Когда-то деревянными сваями, а потом еще и гравием.

Речной вокзал.

Небольшое деревянное здание о двух этажах.

Вечереет.

Надо устраиваться на ночь.

Заходим узнать как? Что?

Смотрим расписание.

Ага: Усть-Чижапка. Теплоход «Заря». Завтра утром. Чудесно!

На втором этаже гостиница. За столом дама. Заполняем карточки приезжего гостя и пробуем разговорить ее, узнать что-нибудь о Чижапке.

Она слушает наши вопросы, не выражая ровным счетом никакого интереса. Наконец отрывается от бумаг и говорит:

– Я на периферии не бываю. Мы переглянулись.

Взяли ключ и пошли.

Без обиды.

Есть люди, которые утверждают, будто они помнят себя еще в утробе матери. Может быть, и так. Я же помню из своего раннего детства совсем немного, и то отдельные картины, и не столько помню, сколько вижу. Вижу самого себя чуть сзади, чуть левее, чуть-чуть выше своей головы. Вижу и то, что вокруг меня. Вижу – стоит железная печка. Возле трубы розовые разводы – топится. Пышет жаром. На плите несколько зернышек ячменя. Они поджариваются и щелкают, подпрыгивая. Возле нее на табуретке стоит мальчик и смотрит на эти зернышки. Рядом стоят его брат и сестренки.

С тех пор я всегда безошибочно отличал ячменные зерна от других и отличу даже с закрытыми глазами на ощупь и сейчас, по прошествии стольких лет.

Мы жили в доме-пятистенке, принадлежащем сельскому Совету. Отца не стало. И нам (маме) предложили его освободить. Но сначала нас просто потеснили, то есть подселили одну женщину, беженку из Молдавии.

Вижу – маленький мальчик (я) стоит в простенке и смотрит, как полная женщина ест курицу (запомнил же).

Вот она обернулась и строго посмотрела на этого мальчика.

А что было дальше?...

Вижу себя в подполье. Стены подпола голые, пустые, в них норы. Вверху отверстие. Свет. Как только крысы меня там не съели? Наверно, они давно ушли к другим из-за отсутствия хоть какого-то пропитания.

А как я там оказался?

Однажды, когда жарили ячменные зернышки, я в нетерпении потянулся к ним и упал на плиту, обжег ногу, все бедро. Было больно. Ходить не мог, но ползал. Видать, дома никого не было, вот и свалился. Как меня оттуда подняли, уже не помню.

Не стало отца. С его смертью мы лишились всего. У нас была в собственности только одна лошадь, на которой отец ездил по вызовам в соседние деревни. Ее продали. Мама продала и книги отца в библиотеку Томского университета, медицинский факультет которого он окончил в свое время, аж в 1918 году.

За зиму подъели все подчистую. Картошку сажали только «глазками» и собрали соответственно.

Мама ушла в город искать работу. В то время этот путь был очень и очень даже небыстрым.

Вскоре стало совсем нечего есть.

Илья доставал еще иногда горсточку-другую зернышек ячменя, наверно, на скотном дворе. Но что это за еда на пятерых?

И однажды эта молдаванка сказала моей сестре Наташе:

– Вот, если ты умрешь, тебе ничего не будет, а вот если он умрет, – она показала на меня, – с тебя матьшкуру спустит. Идите, просите милостыню.

И мы пошли.

Потом, когда я приезжал в Новосибирск, где она жила, она вспоминала об этом, и мы вместе плакали.

– Ведь что обидно, – говорила она, – те люди, которых отец лечил и выдавал лекарства, считай, бесплатно (какие деньги были в деревне в ту пору?) и которые еще недавно заискивали перед нами, ехидничали, не скрываясь – докторские-то побираются. А мне ведь надо было идти в школу.

Записал со слов Наташи.

Когда мама ушла в город искать работу и нам стало нечего жрать, я брал тебя на горбушку и уходил.

За деревней было картофельное поле, за полем болото. Я уносил тебя подальше в болото, сажал на кочку и говорил: «Сиди тут». А сам возвращался на поле и, крадучись, с краешку выкапывал пять-шесть картошин.

Потом разводил костерок и в припрятанной консервной банке их варил. Да какой там? – съедали полусырыми.

Однажды нас встретил объездчик, остановил и стал у тебя спрашивать, где были, что делали?

Я подумал: «Ну все, пропали». Ты не сказал, а то бы мы с тобой загремели как враги народа. Вот так-то, братец.

Записал со слов брата Ильи.

В детстве я страшно боялся ветра – от голода. Ветер подует, я уже зову:

– Иля, ветер.

Он брал меня на закорки. И тут я спокоен.

Вижу...

Летний вечер. Окна изб плавают от заходящего солнца.

Ласточки летают так низко, что кажется – они касаются земли.

Только что пригнали стадо.

И вдруг произошло как будто оцепенение.

По улице, по ее середине, вытоптанной коровами и лошадьми, на тележке – небольшой деревянной площадке с шарикоподшипниками по углам – передвигался человек, солдат, в гимнастерке, без погон, без головного убора и... без ног.

Кульги были забинтованы и пропитаны кровью и еще обмотаны газетами. В руках он держал что-то подобие больших печатей. Он нагибался вперед, ставил обеими руками эти печати на землю и затем подтягивал тело. Он был не то чтобы молод, но далеко не старый человек.

Стали выносить кто что мог: яичек, хлеба, молока.

И потом долго еще стояли у своих ворот и глядели ему вслед.

Чей он? К кому он? Куда?

Никто не знал.

Настали морозы, да такие, что было слышно, как в избе потрескивают стены, особенно по ночам.

Стоит кому открыть дверь, как огромные клубы пара перекатываются через порог, разбегаются по полу, достигая самой середины, и лишь потом потихоньку тают. Все окна во льду и инее, и дневной свет едва пробивается сквозь них. Уже который день я не выхожу на улицу: холодно, да и не в чем.

Вижу: маленький мальчик (я) в простенькой рубашонке пододвинул стул к окошку, взобрался на него, встал на коленки и принялся своим дыханием оттаивать глазок, чтобы посмотреть на улицу, потому что оттуда в этом месте как будто кто постукивал по стеклу чем-то острым и небольшим. Не просто и не сразу удалось отдышать и очистить ото льда глазок, достаточный, чтобы в него можно было посмотреть. Глазок тут же затягивался, но я на него почти непрерывно дышал и протирал рукавом. И вот увидел, что снаружи, на завалинке, напротив моего глазка, сидит птичка, жулан – красногрудый снегирь.

Между оконными рамами были положены гроздья рябины. Наверно, он их увидел и хотел поклевать, а стекло не давало, и он не мог понять, почему.

На какое-то мгновение наши взгляды встретились, и я увидел, с каким вниманием и удивлением птичка смотрит на мой глазок. Глазок стало затягивать ледком. Я подышал на него и потер рукавом. Птички уже не было. Она улетела.

Вижу...

Зимний день. Мы идем по пустынной дороге. Все наше имущество на саночках, которые везет мама. Ей помогают старшие.

Я и моя сестренка Вера, двумя годами взрослей меня, попеременно садимся на саночки передохнуть. С правой стороны столбы с натянутыми проводами. Они гудят. Теперь я понимаю, что от мороза.

Вижу...

Уже в сумерках мы подходим к реке.

На другом высоком берегу изба. В окнах свет.

Мы поднялись и постучали.

Вижу...

В этой избе мы, ребяташки, лежим на русской печке, я с краешку (никогда не любил в середке, или у стенки), смотрю вниз. В комнате слегка дымно от керосиновой лампы.

За столом сидят взрослые и о чем-то говорят, я не могу расслышать, сосредоточиться и тихо-тихо погружаюсь в сон, как во что-то теплое, доброе и нежное.

Вижу...

Постоялый двор.

В прошлом, двадцатом веке, в 40-е годы, такие постоянные дворы (что-то вроде пристанища для приезжих) были, вероятно, во всех областных городах, были они и в Томске.

Сажу на лавке.

Рядом заросший бородой мужчина, в тулупе и шапке с опущенными ушами. Он развязывает котомку, достает хлеб и кусочек сала и начинает есть. Я повернулся к нему и, не отрываясь, смотрю, как он откусывает от того и другого и долго, будто в задумчивости, жует.

Он почувствовал мой взгляд и стал отламывать от хлеба.

А вот что было потом? Взял ли? Поделится ли с мамой, братом и сестренками, не помню.

...И вот теперь, и давно-давно, я не могу, когда передо мной едят, я встаю и ухожу.

Такое забыть невозможно.

Мы идем вдоль высокого деревянного забора, выкрашенного в зеленое.

Вход с металлическим кольцом.

Вот мы стоим в небольшой светлой комнате – мама, тетя в белом и я. Они о чем-то говорят.

Я стою.

Наконец, мама сказала мне, что мне надо остаться, и идет к двери.

Я – в рев.

Они опять стали о чем-то говорить. Тетя уходит и возвращается с тарелочкой, на которой разлито немножко манной каши.

Меня сажают за стол и ставят передо мной тарелочку и ложку. Я кошусь на нее, но не трогаю. Тогда они выходят. Я, конечно, тотчас ее слизал.

Вернулась тетя, уже без мамы. Она взяла меня за руку и увела.

Сколько я пробыл в доме малютки, я не помню.

Потом меня перевели в детприемник. Казалось бы, я должен возненавидеть манную кашу, ан нет! – я люблю манную кашу до сих пор. Только не очень жидкую, а наоборот – даже чуть-чуть густую и слегка как бы поджаренную, не с маслом, а с вареньем, любим.

В недавнее советское время в городах почти на каждом перекрестке находились столовые (пункты общественного питания), и я заходил в них пообедать и брал

манную кашу, если таковая была. И старался есть так, чтобы не лицом к залу.

И когда принимался за кашу, все это вставало передо мной так четко, как будто происходило только вчера или даже происходит вот сейчас, и слезы невольно набегали на глаза и падали в тарелку, а я наклонялся пониже и ел, ел, чтобы никто не заметил.

Иногда, наверное, и замечали, и думали: что это с ним? Но никогда никто ни о чем не спрашивал. И правильно.

Маму, тетю, тарелочку с манной кашей и мальчика, склоненного над ней, я видел со стороны, глазами моей души или глазами моего ангела-хранителя, или кого-то еще, в то самое время, когда я был этим маленьким мальчиком.

В детприемнике на завтрак к чаю иногда давали по карамельке.

И вот опять вижу себя сзади.

Чуть левее и немного выше головы, так что отчетливо различаю свою стриженую макушку.

Столики на четверых.

Справа, через столик, двое старших силой заталкивают конфетку одному из мальчиков.

Он мотает головой, вырывается и плачет. Все обернулись к ним, смотрят, но никто не говорит ни слова. У мальчика из губ потекла кровь, и ему стало плохо. Старшие растерялись и отошли.

Как было больно и обидно.

Так было жаль и мальчика, и себя, и всех-всех, что я невольно заплакал, наклонившись над тарелочкой.

А на завтрак была каша, манная, такая же, как тогда, в доме малюток, в первый раз.

В детприемнике я познакомился с Олегом, моим другом. Мы сидели за одним столиком, спали на одной кровати, деревянной. Иногда кто-то из нас и обчуривался. Тогда кто первый просыпался, будил другого.

Мы становились на четвереньки и коленками терли простыню, чтобы она высохла. Кровать конечно, поскрипывала.

Кто-нибудь из старших просыпался и подходил к нам. Мы замирали под одеялом. Он одному и другому выдавал по хорошему пинку по энному месту, мы головой ударялись в спинку кровати и какое-то время лежали, не шевелясь, а потом опять потихоньку терли, ибо за мокрую простыню нас наказывали.

Придет воспитательница утром и проверяет: сухие или нет.

Для этого она просто сунет руку под одеяло и сразу определит: у кого? Но пуще всего мы боялись не наказания, а того, что потом нас могли обзывать зассыхой.

Детприемник отапливался печками-голландками – такие круглые печки, обернутые железом и покрашенные в черное. В любое свободное время мы бежали к ним и грелись. Стоило только от нее немного отойти, как это место тут же занималось другим.

Из окна детприемника был виден участок железной дороги с горкой. На этой горке постоянно находился вагон. Должно быть, это был участок составления поездов.

Однажды летом нас водили на Каштак, на аэродром.

Аэродром предстал огромным полем, заросшим травой. Где-то в середине поля находились деревянные постройки, похожие на сараи. Возле них стояло несколько маленьких самолетиков, возможно, ПО-2 и У-2. Вдали, у самого горизонта, дымились в ряд несколько труб, и казалось, что там плывет суровый военный корабль.

Близко к самолетикам мы не подходили, посмотрели издали, и нас увели.

Из Томска до Каргаска нас везли на пароходе «Богдан Хмельницкий». Тогда по Оби ходили еще два парохода: пароход «Минин» и пароход «Пожарский». Если один из них шел вниз по Оби, то другой, наоборот, шел вверх. Когда они встречались, то приветствовали друг друга гудками. Только потом, учась в школе, я узнал, кто такой Богдан Хмельницкий и кто такие Минин и Пожарский. В Каргаске мы пробыли несколько дней в ожидании парохода, который ходил по Васюгану. Это был пароход «Тара». «Тара» была кособокой. Ее так и звали: «Тара Кособокая». Когда-то она ходила на двух котлах, один взорвался, и она накренилась на правый бок, но осталась на плаву. Вот ее-то мы и ждали несколько дней. Жили недалеко от пристани в двухэтажной деревянной школе. Ходили всегда группами, потому что сами боялись потеряться, и нас боялись потерять.

Прогулки наши совершались, в основном, на пристань, смотреть на катера и грузовые пароходы, тянущие плоты и баржи, груженные лесом. Там я услышал песню, которая мне запомнилась на всю жизнь, это:

*На Волге широкой,
На стрелке далекой
Гудками кого-то
Зовет пароход.*

Я не знал и даже не догадывался, что такое «стрелка», но песня была о чем-то близком и дорогом.

Однажды нас привели на берег, мы стояли и смотрели на Обь, на пароходы. Возле пристани стоял грузовой катер. Над кабиной катера возвышалась небольшая деревянная мачта. На самом верху мачты был огонек, а чуть ниже круглый металлический рупор, похожий на колокол. Из рупора и лилась эта песня. Тогда я даже не догадывался, где и кто поет, и почему песня звучит из этого колокола.

Погода стояла хорошая, солнечная. В небольшом заливе возле пристани было полно бревен, занесенных течением. Один взрослый мальчик спустился к воде и стал по ним бегать. Бревна под ногами крутились, но он успевал перешагивать с одного на другое. На берегу было много народа, и он как бы хвастался перед всеми: вот я какой!

Мальчика этого увидел кто-то из речников, он подошел и крикнул с берега, чтобы тот не баловался. Мальчик послушался (тогда взрослых слушались почти беспрекословно).

Обь была величавой и полноводной. Противоположный берег едва различался сквозь голубоватую дымку. И эта песня, льющаяся над водой, трогала мою детскую душу.

Все лето и половину осени мы по приезде в Усть-Чижапский детский дом жили в изоляторе, так как почти все чем-нибудь да болели: лишаи, чесотка, трахома и т. д., к тому же и поселить нас было некуда – «малышовский» корпус только еще начинали строить. К осени нас подлечили, закончили и строительство.

И вот мы на новом месте.

Корпус небольшой, но уютный, широкие светлые окна, высокое крыльцо, крыша покрыта досками, еще желтыми от новизны, с желобами для стока воды, над крышей три трубы.

Нас построили в коридоре в затылок друг другу, поставили стол, на него стопку документов и стали сверять наши имена и фамилии. Когда я почти подходил к столу, я услышал за собой неприятные звуки.

Я оглянулся. И увидел испуганные, широко открытые глаза мальчика, стоящего за мной, он судорожно хватался руками за что-то белое и плоское, выползающее у него изо рта. Волосатая голова и часть тела этого чудища извивалась в луже на полу.

Мы остолбенели от ужаса.

Подбежали няни, и мальчика увели еле живого.

Все «это» убрали. И снова стали записывать.

Я подошел, меня спросили: «Мальчик, как тебя зовут?». Я ответил: «Радик». Я помнил, что меня так зва-

ли в семье. Мне сказали: «Нет, мальчик, тебя зовут не Радик, а Коля».

Коля! Значит, Коля.

И только потом-потом-потом я узнал, что настоящее мое имя – Никон, которое мне дал отец.

Никона на Николая (Колю) не так сложно исправить. Да и какой я тогда был Никон – голова, ручки, ножки, вот и все, даже из-за табуретки еле-еле выглядывал.

В «малышовском» корпусе было несколько комнат. Как заходишь, слева по коридору игровая комната, далее, слева же – спальня, а в самом конце – туалет.

Справа, в начале корпуса, была каптерка, где хранился инвентарь: топоры, лопаты, метла и все такое. За каптеркой была комната, где от нас, ребятни, отдыхали воспитательницы и нянечки, когда с нами уставали.

В игровой комнате печка стояла справа, недалеко от двери и в полуметре от стенки, и зимой в сильные морозы, когда мы не разучивали новых песен и не водили хороводов, мы залезали туда погреться и забирались под самый потолок, упираясь спиной в печку, а коленками в стену, с тем, чтобы и снизу тоже кто-то мог прилечь.

Две другие печки топились из коридора и обогревали: одна – нашу спальню, а другая – комнату воспитательниц.

После ужина и до самого отбоя мы группками собирались у этих печек, плавили в них припрятанный сахар на леденцы и глядели, как свет от огня, проникая сквозь отверстия в дверцах и поддувалах, играет на полу и на стенах. А веселое потрескивание полешек давало нашим детским душам успокоение и, может быть, даже надежду, что все еще наладится, все будет хорошо.

В «малышовском» корпусе был патефон, а к нему одна-единственная уцелевшая пластинка – «Марш авиаторов»:

*Все выше и выше, и выше
Стремим мы полет наших птиц.
И в каждом пропеллере дышит
Спокойствие наших границ.*

На обратной стороне этой пластинки была песня:

*Хороши весной в саду цветочки,
Еще лучше девушки весной.
Встретишь вечерочком
Милую в садочке –
Сразу жизнь становится иной.*

А может, и не она вовсе, а запомнилась так, сама по себе.

Еще из песен, какие мы с воспитательницей разучивали, запомнилась почти дословно «При лужке, лужке, лужке...»:

*При лужке, лужке, лужке,
При широком поле,
При знакомом табуне
Конь гулял на воле...*

И когда я ее пел, то мне казалось, что пою я о себе самом, что это я в широком поле поймал коня, зануздал его шелковой уздой и вот лечу и возле милкиных ворот его останавливаю...

Далее – бужу крепкий сон красной девицы и...

*Вот девица встала,
Сон свой рассказала.
Правой ручкой обняла
И поцеловала.*

Я всегда пел ее с радостью и подъемом, наверно, надеясь, что когда-нибудь это случится в реальности.

Помню и несколько куплетов из песни «Отец мой был природный пахарь»:

*Отец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с ним.
Отца убили злые люди,
А мать живьем в костре сожгли.
С сестрой мы в лодочку садились
И тихо плыли по волнам.
Но вдруг кусты зашевелились –
Раздался выстрел роковой.
Сестра из лодочки упала...*

А вот что дальше – забыл. Жаль.

Запомнился и куплет из песни «Синее море – белый пароход»:

*Синее море. Белый пароход.
Сяду, поеду на Дальний Восток.
На Дальнем Востоке там пушки гремят.
Русские солдатики убитые лежат...*

И нам казалось, что это лежат наши отцы, что вот мы как-нибудь соберемся, найдем живую и мертвую воду, наберем и поедем на этот самый Дальний Восток.

Окропим их. Они встанут. Мы разобьем врагов и с победой вернемся. И тогда все узнают... и девчонки, кто мы такие.

Конечно, разучивали мы другие песни – по всей вероятности, о Ленине, о Сталине, о нашем счастливом детстве, но они как-то безболезненно забылись. Среди нас, мальчиков, исполнялась и такая песня:

*Позабыт, позаброшен,
С молодых юных лет.
Я остался сиротою,
Счастья, доли мне нет.*

Было это трогательно и печально. Заканчивалась она так:

*На мою на могилку,
Знать, никто не придет.
Только ранней весной
Соловей пропоет.*

Эта песня, как никакая другая, соответствовала нашему положению, что невольно вызывало слезы и даже рыдания.

А игры были такие.

Нас делили пополам, получалось две шеренги. Ставили эти шеренги одна напротив другой. Бралась за руки.

И вот одна шеренга идет к другой и поет: «А мы просо сеяли, сеяли...». Доходит до второй шеренги, топает ногой и, отступая на прежнее место, поет так: «Ой, дид-ладо, сеяли, сеяли...».

После этого вторая шеренга идет к первой и поет: «А мы просо вытопчем, вытопчем...». Доходит до первой шеренги, тоже топает ногой и, отступая, повторяет:

«Ой, дид-ладо, вытопчем, вытопчем...»

И далее у них происходит такой диалог:

1-я шеренга:

А чем же вам вытоптать вытоптать?

Ой, дид-ладо, вытоптать, вытоптать?

2-я:

А мы ко́ней выпустим, выпустим.

Ой, дид-ладо, выпустим, выпустим...

1-я:

А мы ко́ней выловим, выловим.

Ой, дид-ладо, выловим, выловим.

2-я:

А мы ко́ней выкупим, выкупим.

Ой, дид-ладо, выкупим, выкупим.

1-я:

А чем же вам выкупить, выкупить?

Ой, дид-ладо, выкупить, выкупить?

2-я:

Мы дадим вам сто рублей, сто рублей.

Ой, дид-ладо, сто рублей, сто рублей.

1-я:

Нам не надо тысячу, тысячу.

Ой, дид-ладо, тысячу, тысячу.

Тогда 2-я спрашивает:

А что же вам надобно, надобно?

Ой, дид-ладо, надобно, надобно?

И первая шеренга отвечает:

А нам надо девицу, девицу.

Ой, дид-ладо, девицу девицу.

Называется имя «девицы», это обычно кто-то из мальчиков, потому что девчонок у нас было всего две или три. И вот мальчик из первой шеренги, стоящий напротив этой «девицы», бежит и пробует «разбить» ей руки. Если разбивал, то забирал «девицу» с собой, если нет, оставался сам.

После этого «А мы просо сеяли, сеяли» начинала петь вторая шеренга. И так продолжалось до победы одной из сторон.

Еще была игра в Гусей, Хозяина и Волка.

«Гуси» вставали у одной стены.

У другой – «хозяин». А где-то между ними размещался «волк».

И вот «хозяин» кричит:

– Гуси-гуси!

Те отвечают:

– Га-га-га!

Он:

– Есть хотите?

Они:

– Да! Да! Да!

Далее точно не помню, но смысл такой:

Он зовет их:

– Летите ко мне!

Они:

– Мы не можем!

Он:

– Почему?

Они:

– Серый волк под горой зубы точит, съесть нас хочет.

Он:

– Ну летите, как хотите.

И тогда «гуси» летят, вернее, бегут к своему «хозяину», а «серый волк» их ловит.

Кого поймает, тот выходит из игры.

И так до последнего «гуся».

Была и такая игра.

Мы садились в кружок, смыкали свои ладошки и устраивали их в коленках. Ведущий игру с камушком в руках шел вдоль нас и ему нужно было в чьих-то ладонях незаметно его оставить.

При этом мы пели:

*«Потерялся Иванушка
Среди белого камушка.
Этот камень у меня, у меня.
Говорите на меня, на меня».*

Но ни на Чворе, ни на самом Васюгане камушков не было никаких, были только песок и глина, и поэтому вместо камушка он, ведущий, держал обыкновенную пуговицу.

Другой мальчик, кто должен был отгадать, у кого он оставил, находился в сторонке, отвернувшись, чтобы не подглядывать.

Когда ведущий проходил всех, голящий поворачивался и называл имя предполагаемого обладателя камушка.

Угадывал он редко и только с намеками, и игра могла продолжаться, пока не надоест.

Ну, а «Третий лишний» и сегодня известен всем и везде.

Еще, зимой же, мы в «малышовском» корпусе играли в бабки. Это такие кости. Их собирали возле нашей столовой, отскабливали и играли.

Играли в коридоре. Для этого проводили черту от стенки до стенки, на нее выстраивали наши бабки и с какого-то расстояния в них кидали самую большую и увесистую бабку-биту.

Надо было не промахнуться.

Кто сколько выбивал, забирал себе. Потом эти бабки можно было обменять на хлеб, сахар или на что-то другое.

Для нас они были как деньги.

Когда в корпусе не было ни воспитательницы, ни нянечки, мы катали друг друга по коридору в табуретках. Для этого табуретку переворачивали ножками вверх, кто-то в нее садился, а другой катил. Потом менялись местами. А когда в корпусе были воспитательница и нянечка или кто-то из них, кататься нам не разрешалось. Это наше катание действовало им на нервы.

Зимой, морозным и ясным днем, кто-то из ребят зашел в спальную комнату и сказал: «А вот никто не лизнет ручку у входной двери (откуда только он мог узнать, что из этого получится?)»

– Как это никто?!

И нас человек пять вышли на крыльцо.

– Ну!

Мальчик, бывший среди нас побойчей, подошел к двери, взялся за ручку и лизнул.

Мы увидели, как его глаза широко открылись и наполнились слезами. Он силился что-то сказать, но получалось только бессмысленное мычание.

Мы засмеялись.

Взяв прилипший язык обеими руками, он начал его медленно оттирать, на ручке остался белый лоскут от языка.

Так, плача и держась за язык, мальчик забежал в корпус.

– Кто еще? – вызывающе сказал затейник и посмотрел на оставшихся. Никто не решался.

«Ладно, – подумал я, – у того мальчика не получилось, а у меня получится». К тому же мороз стал потихоньку пробираться под рубашку и надо было торопиться, чтобы не прослыть трусом и показать себя.

Я подошел к ручке, посмотрел на оставшийся на ней лоскуток и меня взяло сомнение, что наверняка и со мной случится то же самое.

И все-таки решился.

Я хотел это сделать быстро, только чуточку прикоснуться кончиком языка.

Как будто чей-то голос мне говорил не делать этого, но отступить было поздно.

Я высунул язык, чтобы кончик его был виден, и чуть-чуть коснулся им заиндевелой ручки. В тот же миг я понял, что попался.

Я стал усиленно дышать, воображая, что делать, а язык все больше и больше прилипал к ручке.

Чувствуя, что еще вот-вот и я тоже заплачу, я отчаянно мотнул головой, освобождая язык, обвел всех взглядом: ну вот, мол, и ничего. Потом скосил глаза на свой язык, который горел, как на костре, и на нем стала выступать кровь, пошел в корпус.

Следующих уже не было.

Вот так.

Умные люди учатся на чужих ошибках, а я на своих набиваю себе шишки и всегда попадаюсь на том, что с кем-то что-то там может случиться, а со мной – никогда.

И всегда – как в первый раз.

Один мальчик сорвал с девочки бусы, запрыгнул на мою кроватку, она стояла возле окна, открыл форточку и выбросил их на улицу.

Девочка, плача, побежала собирать. Мы побежали за ней.

Стали искать.

Было начало весны.

Было тепло.

Снег был крупчатым и переливался на солнце всеми цветами так, что каждая крупинка его сама походила на бусинки.

Ребята находили и отдавали девочке.

А я, как ни старался, ни одной бусинки так и не нашел.

Воспитательница принесла баночку компота из чернослива.

Нас, как утят, поставили друг за другом в затылок. Мы подходили к ней, открывали свои клювики, она вкладывала в них по одной черносливине, и мы отходили. Было очень вкусно. Косточку я долго держал во рту, а потом нечаянно проглотил. Испугался, что может что-то случиться, хотел даже признаться воспитательнице, но не решился. А косточка, видать, просто растворилась – во всяком случае, никаких неудобств из-за нее я не почувствовал.

Однажды зимой одному из мальчиков пришла посылка. Воспитательница с этим мальчиком сходила на почту и принесла ее в нашу спальную комнату.

И хотя у нас полагался «мертвый час», никто не спал, ждали, что за посылка, что в ней?

Посылка была небольшой.

Ее открыли. В ней были яблоки, аккуратные и красивые, желто-зеленые с ярко-красными мазками по бокам.

И наша комната, где прежде пахло обчуренными простынями, ибо их сушили здесь же, у печки, вдруг наполнилась ароматом этих яблок.

Воспитательница попросила мальчика поделиться с нами, и несколько яблок разрезали на кусочки, чтобы каждому досталось хоть чуть-чуть. Мне так не хотелось съесть свой кусочек сразу, но я подумал: откушу сейчас совсем крошечку, а остальное придержу до ужина. Но только попробовал, и уже не мог остановиться.

Как хотелось куда-нибудь туда, где тепло, где растут яблоки, да столько, что их можно не только есть, но даже посылать посылки.

До чего же тогда мы были чисты и наивны.

В другой раз, зимой же, нас опять построили в затылок друг другу, и воспитательница из большой эмалированной чашки черпала столовой ложкой зеленоватую жидкость и выливала в наши клювики. Жидкость была подслащенной и пахла хвоей.

Мне очень понравилась.

Когда все прошли, в чашке еще немного оставалось. Из этого остатка мне досталась еще одна ложка.

Став взрослым, я узнал, что пихтовый настой очень даже помогает от цинги.

И теперь, бывая в лесу, я непроизвольно беру хвойную иголочку, если есть – пихтовую, и медленно, не торопясь, наслаждаясь ее терпким смолистым вкусом, разжевываю.

И опять все это встает передо мной, но так, как будто это происходило не в реальной жизни, а в какой-то необыкновенной, еще никем не написанной, сказке.

«Малышовский» корпус мне запомнился еще и тем, что однажды перед сном мы стояли в две шеренги, одна позади другой, и вдруг воспитательница говорит: «Пока не признаетесь, кто это сделал, спать не пойдете».

А кто что сделал, я даже и не слышал. Может, кто-то и пукнул совсем невзначай, или еще что.

Какое-то время мы стоим.

Никто не признается.

«Ну что, будем молчать?» – более жестко говорит она.

Тут кто-то из мальчиков не выдержал и заплакал.

И меня охватила такая жалость к нему, что я почувствовал, что еще немного, и сам заплачу, и я сказал, что это я сделал.

Поверила ли воспитательница в мое признание, не знаю, ведь то, что произошло, произошло совсем в другом конце, но ребят она отпустила, а меня оставила.

Потом, немного постояв со мной, спросила: «Больше не будешь?»

Я сказал: «Не буду».

Она отпустила и меня.

Но и после этого никто не сознался.

Наверно, не надо было мне с детства приучаться чужие провинности брать на себя.

А, может, не провинность чью-то я взял на себя, а разделил боль того слабого мальчика, который заплакал? Правильно ли я поступил?

Теперь это все далеко где-то.

Был месяц май. Снег уже сошел, но огороды еще не садили. Утром, после завтрака, кто-то из ребят забежал в спальную комнату и таинственно сказал:

– Ребя, айда, там Элька.

Элька – это дочка медички, что работала в больнице.

Мы выскочили из корпуса, обежали его и на солнечной стороне увидели Эльку.

Вообще-то ее мама звала ее Аллой.

Для деревенских она была Элей, а для нас Элькой, ведь у ней была мама, свой дом, не то что у нас, и мы при случае старались досадить ей. Их огород подходил прямо к стене нашего корпуса, к солнечной стороне.

Завалинку еще не разобрали, не отгребли опилки, чтобы просушить подпол корпуса, и Эля разложила на ней свои игрушки: осколки черепков и стекла, клубочки ниток, коробочки с ватой внутри для своих тряпичных куколок, маленькое круглое зеркальце, пуговики всевозможные и что-то там еще. Наверно, она играла в больницу.

Во что еще может играть маленькая девочка, чья мама работает в больнице?

Она так была занята игрой, что даже не заметила, как мы подкрались и окружили ее.

– Ага, попалась, – закричали мы.

В белом коротеньком платьице, с большими голубыми глазами, опушенными бархатистыми ресницами, с

двумя бантами в белых же, слегка золотистых волосах, курчавящихся на височках, она сама походила на куколку из неведомого нам царства.

Она оглянулась на нас испуганно и удивленно, не решаясь ни что-то сказать, ни что-то сделать.

И сами мы были обескуражены ее молчанием.

Если бы в этот момент она пошла в нашу сторону, мы бы расступились.

Но кто-то из ребят нарушил молчание:

– Покажи.

– Покажи. Покажи, – стали говорить и другие, стоявшие ближе к ней. Она, как под гипнозом, взяла подол платица своими маленькими пальчиками и стала потихоньку поднимать: выше-выше-выше.

– Э-э, – пилочок, пилочок, – выкрикнул чей-то писклявый голос.

– Пирожок, пирожок, – подхватили остальные.

И на глаза Эли стали наплывать слезы.

Она смотрела на нас, не мигая и не отпуская платица, а слезы текли и текли.

И мы стали расходиться.

Когда мы пошли в школу, нас из «малышовского» корпуса перевели в старший. Выдали нам холщовые сумки с ляжкой для ношения через плечо. Выдали также ручки и чернильницы-непроливашки.

Перья тогда были: «колос», «лягушка», «рондо»... были и других названий, которые к сожалению, уже забыл.

А чернила были обыкновенные, фиолетового цвета, с ними всегда было непросто – они быстро заканчивались.

Тогда их приготавливали из стержней химических карандашей, а потом и из обычной печной сажи. Для этого мы залезали между стеной и печкой под самый потолок, открывали дверцу и из-под вьюшки соскабливали, разводили водой, и получались чернила, иногда даже неплохие.

Учительницы уже знали; если чернила черные, значит, из сажи. Учиться мне нравилось.

У нас были предметы: чистописание и правописание, чтобы мы писали чисто и правильно, то есть, где надо, проводили линию с нажимом, а где наоборот – отпустили, чтобы линия выходила потоньше.

Иногда получалось даже красиво.

Учебников у нас было мало, а книжек не было совсем. Мы собирались в классной комнате вокруг стола, на который ставили керосиновую лампу, снятую со стены.

Кто-нибудь из мальчиков, кто хорошо и бегло умел читать, садился за стол поближе к лампе и громко, с расстановкой, чтобы все слышали, читал.

Если домашнее задание было письменное, мы записывали, если устное – запоминали.

После нескольких прочтений воспитательница проверяла, кто справился. Справившихся она отпускала, а несправившихся оставляла.

И так до самого последнего.

С последним занималась сама.

Летом мы книжек почти не читали, некогда было, уставали, за день-то набегавшись.

А зимой – да. Перед сном, когда домашние задания всеми выполнены и проверены, мы собирались за столом, теперь уже в спальняй комнате, и самому-самому-самому лучшему теще доверяли читать.

На потолке над лампой обозначался кружок, похожий на солнышко. Это солнышко окружали тени от наших голов, склоненных возле читающего. Мы окружали его так плотно, что стены и углы спальняй комнаты погружались во мрак.

Книжки нам приносила воспитательница и часто она сама переходила с нами из классной комнаты в спальняй послушать и объяснить, что нам бывало непонятным.

Из прочитанного тогда мне хорошо запомнились «Песня про купца Калашникова...» и «Бородино» Лермонтова. Они были интересными, складными и с хорошими цветными картинками. Запомнилась еще и книжка о партизанах.

Кажется, она написана была командиром партизанского отряда Медведевым о боевом пути этого отряда и называлась «Это было под Ровно». Остальные в памяти как-то затуманились.

Зимой, в хорошую погоду, когда домашнее задание выполнено и воспитательница проверила, и на улице еще не так темно, самое время покататься на лыжах или на коньках.

У нас были коньки: «снегурочки», «ласточки», «дуты», без ботинок, и крепились к валенкам укрутками. Все они, как и лыжи, принадлежали старшим.

Чтобы их заполучить на часик-другой, надо было обладателей отблагодарить – принести вечернюю пайку, или «нашибать охнариков», то есть насобирать окурков.

И вот мы с Олегом идем к клубу к окончанию фильма. Идем загодя, чтобы не упустить время, когда начнут выходить. Иногда приходим слишком рано, но стоим, мерзнем, ждем, прислушиваемся, что там происходит на экране.

Фильм заканчивается.

Двери открываются. Мужики выходят с уже готовыми самокрутками. Мы выбираем кого-нибудь и идем за ним.

Если светит луна и небо ясно, то любо-дорого идти – все видно, наверняка не пропустим, когда выбросят окурков.

Снежок поскрипывает. Мороз пощипывает. Тишина аж звенит. Часто то справа, то слева раздается как бы глубокий вздох, это на Кривошеенском ручье проседает лед.

Но вот окурок летит в снег. Мы бежим, подбираем, и, если он жирный (толстый) и еще не погас, то разок-другой зобаем (затягиваемся) сами и гасим – охота на лыжах-то покататься.

А бывает и так, что идешь, идешь за кем-нибудь, а он докурит свои сигарку до самых губ, еще и обмусолит, что противно в руки брать, но берем – хоть несколько табачинок. Ведь если ничего не принесем, ничего и не получим, только баш на баш.

На зиму нам выдавали пимы, не новые, конечно, но вполне сносные, подшитые.

Сначала мы их берегли. Ну прокатаешься разок-другой, а потом только и ищешь подходящее местечко.

Особо хорошо пимы скользили, когда наступишь в коровью лепешку, а после еще слегка макнешь в прорубь, тогда они несутся с горки, только держись.

Одно плохо, что при сушке пимов запах стоял... невозможный.

И няни, и воспитательницы нас ругали за это, но разве можно устоять, чтобы не прокатиться с ветерком.

Естественно, пимы наши быстро худились, образовывались дыры. Туда мы подкладывали соломы: и теплей, и не так набивается снег.

Шапки у нас были тряпичные, как у учащихся РУ и ФЗО (ремесленное училище и фабрично-заводское обучение).

Ни шубок, ни теплых курток, ни свитеров – ничего подобного не было, и мы часто простывали, кашляли, сопливили.

Нас лечили сами воспитательницы, прямо в спальном комнате.

Для этого перед сном в печку, когда нагорало много углей, клали обыкновенный красный кирпич. Возле печки ставили табуретку, на нее таз с водой. Кирпич накалялся до белизны. Его вынимали и клали в таз. Таз

шипел и парил, как вулкан. Нас, кахыкающих, подвондиди к этому вулкану, наклоняли над ним наши головы, накрывали одеялом и заставляли дышать ртом.

Пот лился ручьями.

Пар обжигал, как огонь.

Мы трепыхались изо всех сил, но держали нас крепко, чтобы мы не вывалились оттуда раньше времени.

Затем на койках нас укрывали несколькими одеялами, края которых подтыкали под матрас, и утром, глядишь, мы снова здоровенькие.

Лечение довольно простое, но вполне эффективное.

Свои вечерние птюшки (пайки хлеба) мы с Олегом выносили не всегда только с тем, чтобы отдать старшим за лыжи или коньки, или с целью подлизаться (чтобы при случае заступились), но и с тем, чтобы их заморозить, а утром погрызть.

Для этого после ужина, когда все идут из столовой к корпусу, надо немножко приотстать, вроде не специально, и как только последний скроется в дверях, бегом к вертушке, что служит калиткой в штакетнике, огораживающем детский дом.

Выбегаем на улицу, верней, на набережную, которая весной и летом служит жителям Чижапки еще и прогулочным местом.

На ней находились, если считать от Чвора, по левую руку – небольшой обрыв на пойму Васюгана, а справа пекарня – почта – дом участкового милиционера – магазин, за магазином, перпендикулярно набережной, шла улица на мост через ручей.

За ручьем направо тянулась Кривошеенка, а слева стоял овин (большой крытый сарай, куда свозили снопы для обмолота). Дальше по дороге шли поля первой, второй и третьей корчевок, а за корчевками лес, тайга, урман.

По набережной через эту улицу, на другой стороне, стояла наша деревянная двухэтажная красавица школа-семилетка.

За ней главный, тоже двухэтажный, детдомовский корпус с двумя балконами по торцам – мужским и женским.

Далее шел больничный сад (участок нетронутого леса), на краю сада – больница.

Выбегаем и переходим на шаг, а сами оглядываемся: не следит ли кто? И если никого не замечаем, то где-нибудь на штaketнике, так, чтобы были не видны, припрятываем свои птjюшки, или бросаем в снег, рискуя, что их могут съесть собаки.

Убедившись, что они спрятаны надежно, возвращаемся в корпус. Если чувствуем, что за нами следят, то перепрыгиваем один и другой раз, сбивая выслеживающих с толку.

Утром, после зарядки, бежим за ними.

Но перед тем как начать грызть, надо не забывать сказать: «Сорок один – ем один». И тогда никаких вопросов, грызи на здоровье. А если не успеешь или забудешь, и кто-то скажет: «Сорок два – ем два», обязательно делишься, таков закон, даже если тот, кто это говорит, тебе совсем неприятен.

Но могут попросить и так: «Охмырни!», то есть угоди! И тут на твое усмотрение: хочешь – охмырни, не хочешь – не надо, никто ничего не скажет, но при случае припомнят: «Вот тогда-то ты меня не охмырнул». И тут кто-то первым должен пойти на уступку.

Бывало и так: прибежишь за хлебом, а его и нет, только заметны чьи-то следы. Значит, кто-то все-таки

выследил, подсмотрел. А кто? Пойди, узнай. Никто не признается.

Теперь я иногда думаю: зачем мы это делали – морозили хлеб и грызли его? Да просто мы были маленькими, нам было лет по девять-десять, у нас выпадали молочные зубы, росли новые, надо было им помогать, укреплять десны, что мы, не осознавая того, и делали.

В детском доме все жили своими компаниями по два-три человека. Мы вот водились с Олегом. Другие – с другими. А все вместе была наша группа. Потом – детский дом.

Говоря о детском доме, надо сказать и о играх, в которые мы играли.

Если о девчонках.

Наши девчонки, как и все девчонки, прежде всего играли, в куклы. Они их шили сами, из тряпочек: голова, тело, ручки, ножки. Головы кукол повязывали платочками. Угольками рисовали ротик, носик, глазки, брови. Укутывали их. А еще у девчонок было занятие – они распускали свои старые чулки, и нитки наматывали в клубки. Это было как бы их приданое.

Мы же, ребятишки, весной, как только подсыхала площадка между школой и нашим старшим корпусом, начинали играть в лапту. Приходили и поселковские ребята, даже взрослые – поиграть, поболеть. Часто играли только детдомовские против только поселковских. Мы были более сплоченней и тренированной, и выигрывали чаще. Но, бывало, выигрывали и они, особенно, когда наши лучшие игроки начинали мастериться, явно играть на публику.

Майские вечера были светлые и долгие. На полях, особенно в низинках, стояли лужи и лежал снег. Так что это самое время поиграть, размяться.

В начале июня начинались полевые работы, да и наши старшие ребята уезжали на Успенку сажать картошку, капусту и другие овощи. Оставались только мы, малышня, первый-второй классы, и мы как-то само собой переходили на городки.

Но сначала несколько слов о лапте.

В лапту могли играть сразу человек десять, а то и больше. Делились на две команды. Капитаны брали биты и попеременно перебирали ее руками, и, чья рука была последней, то есть не могла удержать биты на весу, та команда располагалась в поле – голить, а, соответственно, другая на черту – играть. Черту проводили с таким расчетом, чтобы поле получилось достаточное и удобное для игры.

Ни гуттаперчевых, ни резиновых мячиков у нас не было, и мы свои мячики делали из березовых губок ранней весной, когда они были мягкие и напитаны влагой, или приготавливали с прошлого лета. Вырезали из них шарики, постоянно их мяли, стараясь, чтобы они были покруглей. Получались они легкими, прыгучими, и если при игре ими попадали, было весьма ощутимо.

Играющие располагались на черте. У первого – бита. Кто-то из голящих был подающим. Он становился напротив первого игрока и подбрасывал мяч на ту высоту, на какую показывал игрок своей битой. Если бита попадала по мячу и мяч летел далеко в поле, то ударивший бросал биты и бегом устремлялся к черте на противоположной стороне площадки, там он становился в безопасности, а если успевал, то мог и вернуться обратно на исходную позицию. Голящие старались мячик поймать, и если при ударе ловили, то команды менялись местами, а если брали от земли после отскока, то норо-

вили «засалить» бегущего. Когда бьющий промазывал по мячу, или у него не получалось удара, он становился в хвост своей команды, чтобы при удачном ударе следующего игрока перебежать на противоположную черту, а оттуда стараться вернуться к своим.

Когда команды подбирались равными, тогда играть было интересно, а когда одна сильная, а другая слабая, то игроки сильной команды как бы забавлялись – запускали «свечи», то есть били по мячу так, чтобы летел не вдаль, а ввысь – кто выше.

Еще играли в городки и «чижика».

Но самой веселой и шумной была игра в попа-гоняло.

Здесь особенность такова: брался один городок – поп.

Каждый со своей битой-шаровкой – становился на черту и через голову ее бросал. Чья бита дальше всех, тот бил по городку первым, а чья бита оказывалась ближе, тот голил. Случалось, что первый так далеко выбивал городок из города, что некоторые не могли до него даже добросить.

Тогда тот, кто голил, брал недоброшенную битку и бросал ее вперед изо всех сил, как можно дальше, выводя ее обладателя из игры.

Часто с этим попом-гонялой проходили чуть ли не пол-Усть-Чижакки. А потом самые умелые городошники подстраивали так, что надо было возвращаться.

И вот – голящий с городком, остальные со своими битками – бежим в обратном направлении к городу, что-

бы «застучаться». Последний голит. Не проходило и без «хлюзд», то есть обманщиков, но таких в следующий раз могли в игру и не принять.

Однажды летом в Чижапку привезли трофейные фильмы: «Тарзан», «Робин Гуд» и «Королевские пираты».

Посмотрели «Тарзана» – стали прыгать по чворским обрывам, переплывать на остров и там лазить по черемухам и тальникам, и орать, как нам казалось, дикими голосами.

Посмотрели «Робин Гуда» – смастерили луки и стрелы, ходили с ними на третью корчевку охотиться на бурндуков и белок. Лучниками мы оказались никудышными, и скоро это занятие оставили, да и стрел было не напасть.

А когда посмотрели «Королевские пираты», устроили на Чвору настоящее морское сражение.

Тогда лодки никто не привязывал, тем более не заперал на замок. Обласки и лодчонки просто вытаскивали на берег и переворачивали для просушки и чтобы во время дождя в них не скапливалась вода. Часть ребят села на неводник, это, в основном, те, кто не умел плавать, или умел, но плохо, и кто не мог управлять обласком. Была часть и других – для равновесия сил. Я был на неводнике.

В ту пору я уже мало-мальски умел плавать: по-собачьи, на боку, на спинке, даже вразмашку, и мог, пусть с большим отставанием от хороших пловцов, переплыть на остров.

Выплыли на середину Чвора. Заняли свои позиции и – началось сражение. Обласки и лодочки со всех сторон пошли на неводник, чтобы взять нас «на абордаж». Наши гребные весла были крепче и длинней, и мы их не подпускали к своим бортам. Тогда они собрались вместе и все разом пошли в атаку на один борт. Мы сгрудились на нем же, отталкивая обласки и лодки и сваливая в воду карабкающихся на неводник. Началась нешуточная возня и неводник стал крениться-крениться... и перевернулся. Все, кто был на нем, оказались в воде.

Потом, через много лет, когда мы с другом Олегом вспоминали об этом сражении, он говорил:

– А ты знаешь, когда неводник перевернулся, то все, кто оказался в воде, поплыли к берегу взразмашку, все как один, даже те, кто совсем не умел плавать.

А лучше всех у нас плавал мальчик по фамилии Кандинский, все его тело было над водой, и когда он плыл, то казалось, что он не плышет, а быстро-быстро, перебирая руками, бежит по воде на четвереньках.

Я оказался рядом с неводником, испугаться не успел, к тому же кругом были ребята. Я ухватился за борт неводника. Его днище, как спина гигантской рябины, возвышалась над нами, маленькими рыбешками. Оттуда слышались веселые крики. Я поднырнул. Там уже было полно ребят. Мы хохоча, стали выныривать и подныривать под неводник.

Когда жара сражения спала, мы подогнали наши «корабли» к берегу, перевернули их, вычерпали воду и вытащили на свои места, как было. В общем, сражение закончилось и без победителей, и без побежденных, то есть без потерь, а ведь только чудо спасло многих ребят: если бы кого задел борт переворачивающегося неводника, ничего бы не помогло. Странно, за это сражение нас никто не ругал. А кому было ругать? Все были или на работе, или отдыхали.

Середина лета. Июль. Веселое время.

С рыболовными крючками у нас всегда было сложно. Зимой, помня, что сани готовят летом, а телегу – зимой, я изготовил себе крючок из обыкновенной иголки. Я ее нагревал над стеклянной колбой керосиновой лампы и загибал. И пальцы как-то не обжег, и крючок вроде бы получился, и ведь без всякого инструмента. Но до лета было еще далеко, и его надо было как-то сохранить. Я вспомнил, что в бревнах новой столовой есть отверстия от выпавших сучков, и решил туда спрятать, с уверенностью, что там его никто и искать не станет. Я пропитал тряпочку маслом, завернул в нее крючок, положил его тайком в одно из этих отверстий и замазал мякишем черного хлеба. Потом, когда пришла пора доставать крючок, я долго искал это самое место, где он был спрятан, но так и не смог найти.

Даже через много лет, когда я приехал в Чижапку со своим братом Ильей, и нас приютил наш бывший директор Виктор Александрович Сухушин, я вспомнил про этот крючок, хотел его все же отыскать, но и в этот раз безуспешно. Детского дома в Чижапке уже не было, корпуса и столовая еще стояли, но были полуразобранными, без дверей, без окон, а частью и без пола. Не было там ни сельского совета, ни школы, ни колхоза. Магазин работал два-три раза в неделю по часу-другому утром и вечером. И хотя стояла хорошая погода, и мы ходили рыбачить на Васюганский ручей и неплохо

ловили, невероятная тоска и грусть сжимали мне сердце. Поля первой, второй и третьей корчевок давно не возделывались и заросли разнотравьем, а на края их стала наступать тайга, начал подниматься сорный лес.

Дорога, идущая через все корчевки, пока служила взлётно-посадочной полосой для самолетов Ан-2 Каргасокского авиаотряда, тогда еще летающих по поселкам и деревням, расположенным на реке Васюган.

Когда мы улетали, то пилоты для нас сделали прощальный полукруг на Кривошеенкой и самой Усть-Чижапкой, покачали крыльями, вышли на Васюган и вдоль него пошли на Каргасок.

Наши рыболовные снасти были весьма примитивны и сделаны нашими же руками.

Лески готовили еще зимой. Их свивали из белых ниток в несколько рядов. Из черных ниток лесок не плели, считали, что черный цвет будет рыбу отпугивать.

Леску над крючками обматывали медной проволокой для крепости, а заодно и грузила, но крючки часто откусывали, особенно, если рыбачить, где водятся щуки, – возле травы и затопленных коряг. И мы старались не рисковать, а выбирали места, где можно и половить, и позагорать, и не волноваться за крючки.

Поплавки для удочек делали из балберы – толстой коры хвойных деревьев. Для этого специально ходили в лес на третью корчевку и искали на деревьях (живых или поваленных) такую кору. А удилища срезали в тальниках, растущих возле Васюганского ручья.

Хорошие и уловистые удилища или прятали на месте, или носили с собой. Даже и по прошествии стольких лет подумая о Чижапке, о нашем детском доме и вижу...

Ясное утро, солнце поднимается все выше и выше, по заливному лугу, вытканному нежно-зеленой шелковистой травкой, идут ребята, человека три-четыре, босые, гачи (штанины) засучены до колен, чтобы не замарать, на плечах удилища, в руках баночки с наживкой, в карманах утренняя порция хлеба. Будет хороший клев – обойдутся и без обеда.

Возле самого берега Васюгана пасется пестрое кохозное стадо. Над самыми головами ребят летают необыкновенной красоты стрекозы, большие и маленькие, ловя еще не спрятавшихся мошек. Иногда стрекозы садятся на удилица, на рубашки, на руки и даже на лица.

Щекотно, но ребята их не отпугивают, не ловят, а показывают друг другу и улыбаются, восхищаясь ими.

Попадающиеся озерки окаймлены густой и острой, как бритва, осокой, там омута, туда страшно подойти.

Звенят и прыгают из-под ног кузнечики.

В безоблачном небе плавится солнце.

Одинокий коршун недвижно парит в сияющей высоте.

Васюган. Усть-Чижапка.

Счастливая пора.

Девчонки свои старые чулки распускали на нитки, а нитки сматывали в клубки. Это было их приданое. Мы же, мальчишки, копили деньги и хранили их в баночках из-под крема для обуви. Откуда брались деньги? Да случилось, находили по копейке, под двушке, а то и по десятику. Но терпения хватало ненадолго. Как только в баночке что-то обозначалось, шли в магазин и покупали конфеты-подушечки. Тогда нам казалось, что они самые вкусные, так бы и ели, и ели, и ели...

Раз летом, на Васюганском ручье, нас, человек пять, наловили большую снизку чебаков и окуней. Сами пожарили на костре, еще понесли в Чижапку продать. Снизка была большая. Ее несли попеременно по двое за оба конца. Рыбы давили одна на другую, и слабые отпадали. Сначала мы их подбирали и несли в руках, потом в подолах рубашек, а потом подбирать не стали.

Время было – после обеда. Стояла жара. Даже комары и мошки попрятались. Покупателя искали недолго. Согласилась купить одинокая женщина, жившая в избышке над самым чворским обрывом. Она повесила нашу снизку на крючок весов в виде пружины со шкалой, на которой из-за ржавчины едва просматривались цифирки, слегка тряхнула ими, чтобы мы убедились, что они исправны, и наши чебаки посыпались на землю, как игрушки. Цену обозначила в три рубля.

Кто-то из ребят просил пять. Но торг все же остановили на трех.

Когда мы получили довольно помятую трешку, стали строить планы, как лучше ею распорядиться. Планов было много и разных, а когда дошли до магазина, то зашли и купили подушечек на все три. Но никогда больше по стольку мы уже не ловили.

Все чаще стали поговаривать о «вольном хлебе». Вольный хлеб! Вольный хлеб! А что такое вольный хлеб, никто не знал.

Почти за час до обеда мы, мальчишки, собрались возле столовой. Ходим, в нетерпении заглядываем в окна, узнать, что такое вольный хлеб.

– Вольный хлеб! Да это когда ешь сколько влезет. От пуза.

– Скажешь тоже, от пуза. От пуза знаете сколько я слопаю, буханку целую.

– И я бы столько смог.

– И я.

– И я.

Окна занавешены, и как накрывают на столы, никак нельзя подсмотреть. И вот дежурная воспитательница открывает двери столовой.

Мы, кто быстрее, со своим боевым кличем «ураганым огнем налетаем на птюху» ломимся туда. Какое там построение, чистые ли руки, быстрее за стол, быстрее схватить свою птюшку, а если вольный хлеб, то и вторую, и третью – лишней не будет. И большие тарелки, наполненные с горкой, вмиг опустели.

Виктор Александрович, лично присутствующий на первом обеде с вольным хлебом, нарочно громко, чтобы все слышали, сказал поварихе:

– Настенька, что ж это вы, столы накрыли, а хлеба на столах нет?

– Что вы! Что вы! – растерянно сказала Настенька.
– Мы вместе (она назвала имя воспитательницы) и нарезали, и разносили, мы не забыли.

– Да, Виктор Александрович, – подтвердила воспитательница, – мы всегда сначала на столы хлеб ставим.

– И все же нарежьте, нарежьте, а то ребята уже первое заканчивают.

Воспитательница и двое дежурных по кухне в большой кастрюле разнесли хлеб и наполнили опустошенные тарелки.

Мы немного застеснялись и незаметно стали доставать припрятанный хлеб и класть его на общие тарелки. Горки почти удваивались. После второго (каши) и третьего (компота) оставшиеся кусочки все-таки разобрали по карманам: кто знает, сейчас вольный хлеб, а на ужин? Вдруг отменяют.

После того, как мы закончили обедать, встали, сказали «Спа-си-бо!» и пошли к выходу, то каждый держал свои руки возле карманов, чтобы не так было заметно, что они оттопыриваются.

Вольный хлеб – праздник нашего детства.

Детский дом приобрел небольшой движок, работающий на бензине, как сегодня сказали бы – двигатель внутреннего сгорания.

Летом его установили на неводник, и когда он шел по Васюгану, стук его был слышен издалека, особенно по утрам, когда легкий туман стелется над водой и солнце еще не взошло, но уже его первые лучи вот-вот выглянут из-за острова, и мы приходили на ручей до подъема посидеть на утреннем клеве, зная (по договоренности), что с завтрака наши птюшки (порции хлеба) ребята нам принесут.

Между конторой и погребом, у самой больничной изгороди, построили небольшую избушку, куда после завершения работ на Успенке перетащили движок, чтобы он вырабатывал электрический свет.

Все лето копали ямы, привозили лесины и обтесывали их под столбы, ставили их и натягивали провода.

В корпусах, столовой и конторе проводили проводку, устанавливали выключатели и розетки, подвешивали патроны, а мы думали: зачем это? И как может по проводам идти свет? А как наливать керосин в лампочку, что висит на потолке?

Вопросов было много, и мы ждали, что будет.

И все-таки свет дали только к Новому году.

На самый Новый год!

Шишковать (бить шишки) мы ходили в три места. Первое – это возле гати по дороге от Чижапки к Березовке. Там была неширокая сырая низинка, и вдоль этой низинки росли кедры. Лазить на них было довольно легко, нижние ветви начинались почти от самой земли.

Второе место – если идти за могилки по дороге вдоль ручья к старой мельнице. Место там сухое, и поля чередуются с хорошим здоровым лесом. На кедры можно было залезть, но не на все. Здесь бурундуков было – множество.

Третье место – это третья корчевка. На ней промышляли настоящие шишкарки, и это место они охраняли. Мы же ходили туда подбирать то, что оставалось после них. Кедрач они обрабатывали ботами (колотушками), похожими на толстые небольшие жердины, на один конец которых насаживали кругляк с метр, а то и полтора длиной. Свободный конец ставили на землю возле ствола, а самой колотушкой били по стволу. После таких ударов шишки сыплются градом, только успевай уворачиваться, да подбирай. Но все шишки ни сбить, ни подобрать они не могли, что-то оставалось и белкам, и бурундукам, и кедровкам, и... нам.

Возле гати кедры сначала осматривали с земли, выбирали лучший и на него залезал, кто половчей. Он

осматривал соседние кедры и кричал, кому на какую лезть. Обычно самые шишки на макушке и около макушек...

Как-то один мальчик взялся за макушку обеими руками, чтобы ее согнуть, а она обломилась, и он с этой макушкой в руках спарашютировал вниз. Хорошо, что угодил на мох между корней, а то... кто знает.

На второе место ходили, когда на кедрах шишек уже не было. Втроем, вчетвером шли искать бурундуков. Но не только ради них и их орешков – хорошо в позднем лесу, красиво. Каждое дерево стоит в своем особом наряде. Вот береза, русская любимица – вся в желтом. Осина – в красном, аж застыдилась. Рябина – она встретится и в ярко-желтом наряде, и в бордовом, а кисти ягод на ее ветвях сияют, как серьги, она весела и даже кажется беспечной. Стройная лиственница – в наряде сочной желтизны. Она уверена в себе, горда и величава. Сосна, пихта, ели и кедры – их не очень беспокоит, что вот-вот ударят морозы, посыплется снег, они останутся такими же в своем зеленом убранстве, только чуточку этот цвет загустеет, станет темней, все-таки зимой и им холодно.

У молодого подлеска тоже свой наряд, он поскромней, но каждый побег имеет свой окрас и как бы говорит: «Я вот «тот-то», меня не путайте». А мы и не путаем, мы хорошо разбираемся в лесу.

Наши собаки, даже если мы их и не позвали с собой, обязательно нас догонят. Вот и они.

Нет, все-таки осень – особая пора, она с удивительной щедростью показывает нам без утайки: мол, глядите, любуйтесь, восхищайтесь.

Мы идем не спеша. Идем. Глядим. Слушаем. Собаки разбежались по лесу. Наши собаки: Жучка – самая старшая, серо-белая, крупными пятнами, настоящая сибирская лайка. У ней маленькие треугольнички ушей. Над глазами желто-коричневые пятачки, как бы вторые глаза. Умная мордочка. И пушистый хвост калачиком. Когда нас привезли в детдом, она уже там жила. Попусту она никогда не залает, ну, если принесешь ей косточку или кусочек мяса и попросишь: «Жуча, голос!». Шарик. Тоже пестрый окрасом. На охоте с Виктором Александровичем повредил переднюю правую ногу, и она у него волочилась. Мы ее перевязывали, но перевязки долго не хватало, ибо он был вожакам наших собак и везде хотел быть первым. Хороший был песик. Жалко было. Но усыплять его не давали. От Жучки и Шарика был Индус. Он появился уже при нас. Мы его кормили со щенячьих дней. Вырос он полностью черный, без единого пятнышка. Высокий, поджарый, с широкой грудью. Ростом чуть ли не с маленького теленка. Мы садились на него, подгибали ноги, а ему хоть бы что. Он был и охотник (в своих родителей), и ревнивый охранитель нашей территории.

Стоило какой поселковой собаке забежать на нашу площадку, как откуда-то вылетал Индус, сбивал ее с

ног и какое-то время стоял над ней, как бы не обращая на нее никакого внимания. А потом спокойно отходил, позволяя той уйти. Сбитых он никогда не кусал.

Залаяла Жучка. Ее лай звонкий, залиvistый – значит, увидела белку, заводит с ней игру и подзывает нас. Но белку нам не надо. Вот и Шарик с Индусом подают голоса. Их лай короткий, отрывистый, нетерпеливый – нашли нору, сворачиваем туда.

Под высоченным кедром между лапами корней – нора. Индус разрывает ее и пробует пролезть. Шарик бегает вокруг, стараясь помочь, и смотрит, не выскочит ли где бурундук.

Вот вместе с землей стали попадаться и орешки. Собак придерживаем, а нору аккуратно разгребая руками. Много забирать у бурундука нельзя. Прибежит, увидит, что разорен, от горя может покончить с собой. Найдет на дереве развилку, сунет туда голову – и все. И мы берем каждому понемножку, но какого! Отборного. Одно к одному. Нам и хватит. Пощелкаем. Походим по лесу и к ужину еще успеем. А найденный клад опять присыпаем, чтобы другой кто не нашел. Может, бурундук отремонтирует его, переложит орешки, а, может, и перепрячет. У него не один клад припасен.

К началу учебного года детдом приобрел для наших девчонок новые сорочки. Когда их (девчонок) сводили в баню и стали одевать, то двух сорочек недосчитались. В итоге оказалось, что новенькие воспитательницы, сами еще совсем девчонки, взяли их себе.

Поднялся шум, так что и мы, мальчишки, узнали об этом. Нам было жаль воспитательниц, может быть, они никогда не носили таких красивых и новых сорочек, что не удержались. Их хотели даже судить. Но потом решили этого не делать. И все-таки одной воспитательнице пришлось уехать, хотя она плакала и просила ее оставить.

Зимой почту по Васюгану развозили на лошадях, запряженных в кошевку, с обязательным колокольчиком под дугой. Его можно было услышать аж из-за острова. Легко и весело разносился в морозном воздухе залиvistый перезвон. И, пожалуй, у каждого детдомовца начинало трепетать сердце: а вдруг нашлись мама и папа и прислали весточку, что живы, что не забыли, что помнят и что скоро-скоро приедут и возьмут к себе. И когда колокольчик звенел, мы выбегали на взвоз как раз возле занесенного снегом моста между Чижапкой и Кривошеенкой и ждали, чтобы сзади прицепиться к кошевке, спрятавшись за ее спинкой, и таким образом прокатиться.

Иногда возчик отгонял нас бичом, а иногда просто не обращал внимания, и тогда можно было на запятках кошевки доехать до самой почты. В особо морозные дни почтовые лошадки покрывались инеем: и бока, и спина, и ноги, и грудь, и голова, и ресницы. Из ноздрей вылетали густые клубы пара. При маломальском воображении такую лошадку можно было принять за доброго одноголового Змея Горыныча, запряженного в кошевку и развозившего почту по селениям Васюгана.

Иногда и нам в детдом приходили письма, но только немногим счастливицам, у которых где-то отыскивались родственники.

И мне приходило несколько писем, сначала от брата Ильи, а когда его взяли в армию, от сестры Наташи.

Однажды я написал ответ на ее письмо, наверно, об учебе, об оценках, и осталась свободной какая-то часть листочка. Я решил ее заполнить и написал стихотворение. Начиналось оно так:

Я пишу, рука трясется.

По письму перо плетется.

Вторая строчка меня обрадовала своим звуковым рядом: – п – п – п – п. Заканчивалось стихотворение так:

А со стула на кровать,

Больше нечего писать.

А вот что было между двумя первыми и двумя последними строчками, никак не могу вспомнить. Что же там могло быть? Окончание «кровать – писать» мне не нравилось, но ничего более звучного придумать не смог и отправил, что получилось. Через многие годы, когда мы встречались, она говорила, что письмо это ее страшно развеселило и всегда, когда она его перечитывала, просто не могла удержаться от смеха.

И сожалела, что письмо это не сохранилось, а я до сих пор никак не могу вспомнить те недостающие строчки, как не могу вспомнить и масти лошадей, хотя в ту пору мы в этом очень даже разбирались.

Самыми ожидаемыми праздниками в наше время были Новый год и выборы. Новый год проходил шумно и весело, но... в каждой отдельной семье, в каждом отдельном доме.

Зато выборы! К ним готовились всенародно и основательно. Помню большие алые плакаты: «Все на выборы!» Задолго вывешивались объявления: «До выборов сколько-то дней», наавтра: «До выборов столько-то дней». Потом: «До выборов осталось столько-то дней». И так до последнего дня.

Агитпункт и избирательный участок кипели и бурлили. В это время в нашей столовой под присмотром поварахи тети Насти в большом деревянном бочонке заводили бражку. Ко дню выборов бражка неизменно поспевала. Ее процеживали и относили в школу, где находились агитпункт и избирательный участок, ставили возле парадного входа, открывавшегося только по праздникам и знаменательным датам. В день самих выборов, утром, рано-ранешенько, к школе начинали подтягиваться избиратели – жители самой Усть-Чижайки, а также Кривошеенки и соседней Березовки.

Был месяц март. Погода стояла изумительная. Было тепло. Падал легкий волнующий снежок... Каждый входящий избиратель мог сделать шаг-другой вправо, взять кружку и зачерпнуть из бочонка, что пришедшие на избирательный участок и делали «за единство блока коммунистов и беспартийных».

Бочонок, казалось, был неисчерпаем, и большинство (по понятной причине) не расходились.

Вскоре школьный двор наполнился и ребятней, детдомовскими и поселковыми. Кое-кто из старших ребят успел даже пивнуть бражки и теперь ходил между нами, куражась и задираясь понарошку. Возле школьного двора стояли две упряжки, колхозная и наша, детдомовская, и катали всех желающих. Кругом стоял шум, смех, визг, играла гармошка.

Часам к двенадцати все избиратели проголосовали, и члены избирательной комиссии – директор детского дома Сухушин Виктор Александрович и директор Усть-Чижапского колхоза Сенцов Семен Григорьевич – вышли во двор «подышать свежим воздухом».

К этому времени все, кто хотел покататься, покатались, и конюхи дали лошадям отдохнуть. Лошади стояли во дворе и пощипывали сено, каждая из своей охапки, и как бы в знак благодарности кивали головами, так, что на их сбруях позвякивали металлические украшения, а поддужные колокольчики придавали этому легкую законченность мелодии.

Колхозный жеребец Ураган был выездным, крупная упитанная лошадь гнедой масти. Когда он бежал, то в его боку ёкало, говорили, что это ёкает селезенка. Наш меринок Марш был поскромней, но своей статью мало чем уступал Урагану. Зато наши сбруя и кошевка были красивей и нарядней колхозных, особенно кошевка, обитая сзади зеленым бархатом, который, когда по нему проведешь рукой, аж переливался.

– А что, Григорич, не прокатиться ли нам? – сказал Виктор Александрович, толкая в бок председателя колхоза. – До Березовки и обратно?

– Давай, – задорно ответил председатель.

Они ударили по рукам.

Упряжки вывели на улицу и поставили рядом. Каждый занял свою.

– Анемподист! – позвал Виктор Александрович мужа нашей воспитательницы Евгении Михайловны. – Махника нам.

Анемподист (по отчеству его никто не называл, по видимому, из-за его странного и длинного имени) подошел к кошевкам, снял шапку и высоко поднял ее над своей обширной и выразительной лысиной. (По вине этой лысины ему среди нас, детдомовцев, было прозвище как Лысый пантист). Плотный, небольшого роста. Мы боялись его пуще всех и старались избегать встреч с ним.

– Раз! Два! Три! – прокричал он и махнул шапкой.

Кони рванули с места и вскоре свернули налево, на основную улицу, ведущую к Березовке. Колхозный Ураган сразу же захватил дорогу, и его обойти было уже невозможно, так как ширина дороги была всего в одни сани.

Мы остались ждать.

Прошло какое-то время, и мы в нетерпении начали выбегать на дорогу и смотреть, не едут ли?

И вот они показались. Впереди по-прежнему шел Ураган, за ним, не отставая, Марш. Свернули на улицу,

ведущую к школе, впереди оставался только один поворот – и ворота школы.

Мы стали кричать, прыгать и махать руками, подбадривая Виктора Александровича и нашего Марша.

И Виктор Александрович решил на последнем повороте обойти колхозную упряжку.

Марш почувствовал, что от него хотят, и, напрягаясь, рванул по сугробу. И Ураган, и Марш влетели в ворота школы, что называется, ноздря в ноздю и остановились – застряли кошевки.

Конюхи подбежали к своим лошадям, успокаивая их. Виктор Александрович и директор колхоза вылезли из кошевок, потрогали столбы ворот, осмотрели кошевки, вроде бы все цело, и стали решать: кто же был первым? Ни тот, ни другой не признавали своего поражения, тем более председатель колхоза, ведь его Ураган всю дорогу шел впереди и тут, если бы Виктор Александрович не срезал угол. Но и наш Виктор Александрович был неуступчив. В своих темно-синих диагональных, подшитых кожей, кавалерийских галифе и офицерских хромовых сапогах, страстный охотник – нет, проигрывать – это не его дело.

– Ладно! – наконец, он не выдержал. – Давай бороться.

И они стали бороться. Подвижный, шустрый и верткий Виктор Александрович (даже никто не заметил) схватил директора колхоза за рукав и через подножку повалил того на снег.

Мы победоносно закричали, а деревенские зашумели недовольно:

– Подножка не по правилам, так не договаривались.

Решили перебороться.

Взялись за пояса и стали ходить один вокруг другого, раскачиваясь. Не помню, во что был одет председатель колхоза, но обут он был в белые бурки, единственные во всей Чижапке.

Он был покрупней и помоложе Виктора Александровича, и чувствовалось, что на этот раз Виктору Александровичу его не одолеть. И правда. На каком-то бугорке он поскользнулся, и председатель колхоза навалился на него всем телом, и они рухнули на снег. Деревенские закричали пуще прежнего, мы замолчали. Когда они поднялись, было видно, какая досада обуревала Виктора Александровича.

– Эх, – сказал он в сердцах, – не берет собака волка. И с силой ударил шапку о землю.

Потом они отряхнулись и пошли в школу, ведь там, в бочонке, по всей видимости, еще кое-что оставалось.

Утром, во время завтрака, в столовую зашел Виктор Александрович. Он поздоровался с нами и сказал:

– Ребята, сегодня у вас занятий в школе не будет.

– Ура-а-а! – закричали мы.

– Надо будет, – он поднял руку, успокаивая нас, – надо будет натоптать площадку для самолета. Он прилетит к полудню за больным. Успеем?

– Успеем!

– Сделаем!

И в столовой поднялся шум.

Тогда Евгения Михайловна, наша воспитательница, сказала:

– Дети, вы забыли, что там написано, и показала на плакат, висевший над окном.

– Когда... – начала она.

– Я ем, то глух и нем, – подхватили мы дружно.

– Так. А на том? – она показала на плакат над противоположном окном.

– Когда я кушаю, то никого не слушаю, – прочитали мы давно знакомое изречение.

После завтрака мы спустились возле нашего корпуса под берег и стали утапывать площадку. Сам Виктор Александрович отметил нам длину и ширину. День был морозный и солнечный. Снег, сухой и сыпучий, утапыванию поддавался плохо. Часто приходилось ложиться на спину и вытряхивать из валенок.

И все-таки мало-помалу площадку мы утоптали, наметили еловыми лапками, срубленными в больничном саду.

Когда уставшие и запарившиеся, мы собрались в кружок перевести дух, из-за острова буквально выпрыгнул маленький самолетик.

Верхние крылья его были побольше нижних, между ними растяжки. Самолетик летел очень низко. Под его крыльями были две широкие лыжины, а сзади одна, совсем маленькая.

Он сделал полукруг и зашел на посадку со стороны школы. Прокатился возле нашего корпуса и подрулил к больнице, где ему уже махали. Мы побежали за ним, жмурясь от поднимаемой снежной пыли.

Как только за больным закрыли дверцу, самолетик стал разворачиваться и, развернувшись, взлетел в сторону острова, то есть Каргаска.

Зимние дни коротки. До обеда светает, после обеда темнеет. Самолетик этот, наверное, был ПО-2.

Точно такой же самолетик к нам прилетел еще раз, но уже летом. Он сделал два круга над Кривошеенкой и там сбросил на маленьком парашютике вымпел для нашего лесника.

Когда самолетик делал круги, мы бежали туда и кричали:

*Эроплан. Эроплан.
Посади меня в карман.
А в кармане пусто –
Выросла капуста.*

... Как живы во мне и сейчас эти картины.

Слышу как сквозь сон:

«Вот умер (и называют мои имя и фамилию). – Он был хороший мальчик. Очень жаль, что он умер», – сказано каким-то неземным металлическим голосом. На словах «Вот умер» я как бы проснулся и открыл глаза в удивлении: «Кто умер?». А когда услышал свое имя, я подумал: «Как же так, я же вот он – живой, все вижу, все слышу, а говорят, что умер». И вдруг замечаю, что нахожусь внутри зеленовато-голубой сферы, наполненной легким фосфоресцирующим светом. Сфера постепенно сужалась и переходила в длинное-длинное, почти бесконечное горлышко – туннель. В конце туннеля было ярко-желтое пятно с крупными бордовыми мазками. Справа, может, метрах в двух, я увидел себя (свое тело), лежащее на двух усеченных кубах, поставленных один на другой.

Нижний куб был усечен на одну треть и покрыт белой материей, на нем стоял второй, поменьше, усеченный на две трети, и тоже покрыт белой материей. А уже на нем, посередине, лежал я (мое тело) покрытый по грудь, так что я сразу узнал себя, но не очень беспокоился, ведь я-то был живой. Сначала мое внимание привлекли трое, стоящие слева у ног, – не тела, лежащего на кубах, а наверное, души. Средний был очень высок и худощав, двое других стояли у него по бокам. Они ему едва доставали до пояса. Одеты они были в белые одежды с капюшонами, полностью закрывавшими их лица.

Одежды просторные, подпоясанные тесьмой или веревочкой. Рукава широкие. Руки скрещены. Головы наклонены. У меня было желание заглянуть под капюшоны, увидеть их лица. Нет, ничего увидеть я не смог. Не смог увидеть и во что они были обуты, так как одежды полностью закрывали их ноги. За все время они даже не пошевелились. Потом мое внимание перешло на тех, кто стоял справа у ног моего тела, также метрах в двух-двух с половиной.

Первыми стояли детдомовские ребята, они плакали. Я им крикнул не очень громко и даже весело: «Ребята, не плачьте, ведь я же не умер, я живой». Голоса моего, как мне показалось, не было слышно, но я на это не обратил внимания. В некотором отдалении от них стояла группа взрослых, мне незнакомых. Один (потом я увидел в церкви) был удивительно похож на Николая Чудотворца, но почему-то в гражданской одежде. Из всей группы выделялась молодая особа. Она была одета в строгие одежды, в каких изображают богородиц на иконах. На голове ее была белая полоска и простой убор. Очень обаятельная. Я подумал, что это моя мама.

Вот она отходит от своей группы и идет, но не ко мне, а к моему телу, лежащему на кубах. Я громко кричу: «Мама! Мама! Я здесь. Вот он я». Но чувствую, что голоса-то нет, и меня она не слышит. Мне стало так обидно, что я горько-горько заплакал необыкновенно крупными слезами (я еще удивился, что слезы могут быть такими), но и они, как и голос, были неосятими,

невещественны. Меня охватил ужас: «Вот меня похоронят, а я-то живой».

И тут я прихожу в себя, уже по-настоящему. Надо мной, прямо глаза в глаза, склонился доктор. Сзади него стояла нянечка. Я лежал возле стены. Мой взгляд остановился на окне. Зимнее окно было чистое, без занавесок и без морозных узоров. За окном стояла полная, большая, необыкновенно ясная луна. Все ее «моря» были четко обозначены. Небо было облито лунным сиянием так, что звезд на нем не было заметно. Я закрыл глаза и уснул.

На следующее утро я был совершенно здоров, лишь ощущалась во всем теле легкая слабость.

Странно. Однажды, много лет спустя, когда у нас все мало-помалу образовалось, при упоминании о детском доме мама сказала: «Мне казалось, что ты умер». Вот тут и подумай.

А однажды, когда я сидел за столом и делал уроки (письменный стол у нас был и обеденным столом, и для глажки белья, и для кройки и перекройки какой-нибудь одежки, еще в нем хранились продукты и ставилась посуда), мама подошла ко мне, положила руку на голову справа возле макушки и спросила: «А это что у тебя?». После, через много лет, на областном семинаре молодых литераторов в Тюмени, меня так двинут чем-то в это место, что почти напрочь снесут скальп с ладонь величиной, и удар будет такой силы, что я приду в себя только лишь в больнице. Так что же это?

Картошку для печенок мы доставали, когда носили ее из погреба на кухню. Для этого карманы штанов прорезали, а в концы гач (штангин) вставляли резинки. Положишь картошину в карман, она падает вниз, и не так заметно, что что-то там есть. Такое же проделывалось и с пальто.

Зимой нас чаще кормили кашами, а картошку расходовали с расчетом, чтобы хватило до новой. Старшие ребята придумали: в торец длинной палки вбивали гвоздь, конец гвоздя затачивали и делали жало, как у рыболовного крючка. Они опускали эту снасть в отдушину погреба, втыкали в картошину и доставали. В это время кто-то из ребят стоял «на стреме», чтобы ни завхоз, ни воспитатели, ни сам директор не заметили. Достанут с десяток, наденут на снизку из проволоки, зайдут на крышу столовой (столовая стояла в низинке, сама была низкая, и поэтому ее заносило снегом по самую крышу). Там опустят в трубу и... только проверь, чтобы не сгорела. Нам, младшей группе, это не дозволялось. Мы свои картошины пекли в спальном комнате, в печке, после того, как она прогорит, обычно перед отбоем. Казалось, что после печеной картошки и спится крепче.

Здравствуй Коля!

Это хорошо, что ты собираешься написать о нашем детском доме, об Усть-Чижапке. Молодец. Давай. А я попробую, по мере сил, что тебе напишу.

По вечерам, когда ложусь спать, многое вспоминается, а днем все улетучивается. Вот ты спрашиваешь про коня Марша. Это был из всех детдомовских лошадей самый любимый конь Сухушина В. А. – нашего директора, да и мы все его любили. Хотя он был, если помнишь, меринком, но статью своей он ничуть не уступал колхозному Урагану-жеребцу. Директор часто ездил на нем в Каргасок по васюганскому льду, и не раз они проваливались в полыньи, и всегда Марш выручал Сухушина из беды. Помню, один раз я сам принимал участие в спасении Марша от воспаления легких после очередного купания. Мы завели его каким-то образом в тесную конюховку или «хомутовку» (там хранилась вся упряжь), натопили печку, накрыли Марша попоной и другим тряпьем. Спасли. Замечательное у Марша было качество: когда на нем перевозили грузы, то каким бы тяжелым груз ни был, если дорога шла в гору, Марш обязательно переходил на галоп без всякого понукания и, только преодолев подъем, переходил на шаг.

Был еще в детдомовском хозяйстве Голубок – тоже всеми любимый конек-горбунок. Он на самом деле соответствовал кличкам и Голубок, и Горбунок. Если бы нам, пацанам, доверили присвоить ему кличку, мы бы

обязательно назвали его Горбунком. Мы все тогда ходили под впечатлением просмотренного мультфильма «Конек-горбунок».

Ты же помнишь, Коля, как бурно мы обсуждали все просмотренные фильмы. Лучшими из них, по-моему, были «Конек-горбунок», «Тарзан» и «Тимур и его команда». Так вот: мы-то жеребенка и называли его Горбунком, но Виктор Александрович и дядя Миша Прусс убедили нас, что негоже красивую лошадку называть Горбунком, и в подтверждение своих слов указали на одну из колхозных лошадей, действительно горбатую и тощую. Ее даже невозможно было запрячь ни в сани, ни в телегу.

А Голубком назвали потому, что жеребенком он был действительно голубоватой масти.

Я-то знал и ждал его. Да! Да! Я помню, как по случаю выборов в Усть-Чижапку съехались со всех ближайших деревень избиратели, в том числе и из Березовки приехал какой-то начальник верхом на огромном красивом жеребце. Масти он был необычной. Назвали его чалым. Но сейчас я назвал бы его меланжевым. Цвет меланж в ткацко-прядельно-вязальном деле – это когда нити разных расцветок сплетают в одну и вяжут или ткут полотно. Оно получается меланжевым.

Я сам поехал на этом жеребце на водопой и показал его дяде Мише. А дядя Миша как человек деловой решил воспользоваться случаем. «Давай-ка, – говорит, – езжай на нем в конюшню, и спарим его с нашей Воронушкой, отличное получится потомство».

Я приехал, завел чалого в загон, дядя Миша вывел Воронушку. Тут подробности я опущу, но скажу, что чалый при виде Воронушки сразу же возбудился, а вот Воронушке чалый что-то не понравился. И тогда этот чалый подошел к нашей Воронушке спереди, развернулся задом под прямым углом к ее морде, да ка-а а-к даст ей копытами в челюсть, аж хруст послышался. А копыта у него были, как миски металлические, из которых мы ели.

Потом дядя Миша буквально закинул меня на Воронушку и со словами «гони ее и, главное, не давай остановиться» огрел ее палкой. Накатавшись на Воронушке, я пересел на чалого и отогнал его опять к школе.

Ну, ладно, на сегодня я прерываю свое повествование, но чувствую, что увлекся. При первой же возможности продолжу.

Ну вот, выдалась минутка, продолжаю.

После выборов мы с нетерпением стали ждать результата. Уж больно жеребец был хорош.

Через положенный срок (а, может, и неположенный) помню, что зимой Воронушка ожеребилась. Жеребенок был красивый, но очень слабый. Долго он не мог встать на ноги.

Мы, пацаны, человек пять-шесть, с первого же дня взяли над ним шефство. Подкармливали его хлебом, сахаром, чесали, помогали встать на ноги и т. д.

Рос он медленно и почти не поправлялся. Наверно, удар чалого сказался в итоге и на жеребенке.

Помню, что мы с нетерпением ждали весны, первой травки.

Собственно, Виктор Александрович уже дал команду усыпить Голубка, но мы упросили оставить его до весны.

И вот, когда появилась первая травка, мы его вынесли на попоне на лужайку. Он полежал, полежал, отогрелся на солнышке и сделал попытку встать на ноги. Мы бросились ему помогать. И первое, что он сделал, когда встал, так это заржал, да так заливисто и радостно, что и нам всем стало радостно, как будто праздник наступил.

С этого дня он пошел на поправку. Он щипал траву, а мы буквально подпирали его под бока. Каждый из нас считал своим долгом угостить его своей птюшкой (пайкой) хлеба, а то и сахаром.

В конце концов вырос наш Голубок в хорошего жеребчика. Весь он был аккуратненький такой, коротенький в длину, но высокий, со стройными ногами и очень резвый и игривый.

Уж как хотелось нам всем на нем верхом покататься, но мы долго себе этого не позволяли, берегли его.

Ну, пока, Коля, а то расписался. Да и почта не примет по весу. Еще что вспомню, непременно напишу. А вспомнить есть что. Интересно будет и почитать. Ну, всего.

Альберт.

Весной охотники убили медведицу, а медвежонка (девочку) Виктор Александрович, директор детского дома, и сам страстный охотник, взял себе, вернее, для нас. Ее поселили под девчачий балкон. Сделали будку, надели ошейник, привязали небольшую веревку, чтобы могла свободно передвигаться. Назвали Машкой.

Машка была большим клубком бурой шерсти с маленькими любопытными глазками, мокрым носом и белым бантиком на груди. Машка всегда готова была поесть и поиграть. И первое время она нас очень занимала. Мы старались с завтрака, обеда и ужина оставить что-нибудь вкусненькое, чтобы потом самим лично, к недоумению наших собак, преподнести ей. Она встанет на задние лапы, передними обнимет руку, подтянет к себе и слизет кусочек мяса, сахара или конфетку, что принесешь. Наверное, она была еще сосунком. Подашь ей палец – сосет палец. Подашь руку – руку сосет. Подставишь ей нос или ухо, оближет и нос, и ухо, но очень щекотно, вдобавок еще и голову обмусолит. Очень она любила бороться. Обнимается с кем и вот топчется на месте, раскачиваясь. Наши собаки, прежние любимицы, даже и с нами к ней близко не подходили, при этом шерсть на их загривках вставала дыбом, и сами они недобро косились на Машку.

С наступлением лета мы все больше стали пропадать на Чворе или Васюгане, ходить в лес, а Машка оставалась одна. Девчонки к ней не подходили – боялись.

Лишь тетя Настя, повариха, заботилась о Машке, кормила ее, когда мы забывали о ней.

К концу лета Машка сильно подросла, окрепла. У ней выросли зубы и заострились когти, стал вырабатываться характер, медвежий. Если что-то было не по ней, она начинала рычать и злиться. Одному мальчику, который хотел с ней «поиграть», сильно поцарапала руку. А однажды отвязалась и убежала во двор к тете Насте – своей кормилице, переполошив там всю ее живность. Машку поймали, привели и посадили уже на цепь, к ее страшному неудовольствию.

Надвигалась осень, а там и зима. Стали думать, что делать с Машкой. Убить – жалко. В тайгу отпустить – не выживет. Решили отдать на пароход. Тогда почти на каждом пароходе держали медвежонка – для престижа. И Машку Виктор Александрович отдал на пароход «Чехов», который в начале пятидесятых годов сменил на Васюгане «Тару». Наверно, до конца навигации Машка плавала на «Чехове», забавляя пассажиров, а потом, скорей всего, попала в цирк или зоопарк.

Больше ничего подобного мы не заводили.

У детского дома была своя столярка – просторный, с высоким потолком, сарай с большими и светлыми окнами. На улице перед входом стояли внушительных размеров козла, на которых длинной двуручной пилой распиливали бревна на плахи. Наверху было место дяди Миши Прусса, нашего детдомовского конюха, маленького, толстого и почти круглого, как колобок. Он постоянно держал во рту «козью ножку» из табака, выращенного им самим. (Настоящего горлодера, мы пробовали). А внизу было место Тилька, тоже конюха, только колхозного, высокого и щуплого, прямой противоположности дяди Миши, и абсолютно некурящего.

Работали они молча, работа такая не из легких, но иногда беззлобно поругивались, если пила начинала «вести» – выясняли, по чьей вине. В столярке, справа от прохода, почти в середине, в земле, находился внушительных размеров чан, сооруженный из досок.

В начале зимы, когда мы зашли в столярку, была договоренность, что все желающие могут себе сами изготовить лыжи, в этом чане три женщины утаптывали капусту, которую наверху секли и сваливали вниз.

С шуткой или с пониманием отнеслись в столярке к этой затее с лыжами, но мне выдали две березовые доски (я подумал, что лыжи будут покрепче).

Все мы делали по науке, как нам подсказывали. И отверстия для крепления сделали, и загнули носки, где

перед, и провели на них направляющие желобки, и пропарили их в горячей воде, а после на распорках поставили на сушку. И когда с радостным настроением мы пришли за нашими лыжами, я был страшно раздосадован, что мои лыжи вышли толстыми, тяжелыми и... кривыми, как пропеллеры.

Все-таки я пробовал на них прокатиться.

Они не катились совсем.

А ведь когда я их делал, думал, что мои лыжи будут всем на зависть.

Зимой зарядку делали в спальняй комнате при открытых форточках. После зарядки шли в умывальник, а кто посмелей – поваляться в снегу. Однажды кто-то из ребят, выбежавших на снег, увидел в больничном саду на верхушке кедра глухаря. Забежал в корпус и сказал нам. Мы тоже стали выбегать и смотреть.

Да, большой. Поздоровее любого петуха.

– Ребя, айда, позовем Виктора Александровича.

Когда Виктор Александрович прибежал с «тозовкой», глухарь, не дожидаясь его, благоразумно улетел.

Но... винтовка была принесена, значит, надо пострелять, притом нам как-то было обещано научить нас с ней обращаться.

И после завтрака решили пойти в лес. А самый ближний лес был за могилами, туда-то мы и отправились.

Пришли, встали на обваловку, так повыше.

Через поляну, метрах в пятидесяти, а, может, и больше, на березе сидела одинокая сорока. Она взволнованно стрекотала, недовольная нашим приходом. Когда мы остановились, то и она перестала стрекотать, а принялась поворачиваться к нам то одним, то другим боком и нервно подергивать своим хвостом.

Виктор Александрович зарядил «тозовку», встал поудобней, прицелился.

«Ну, все, сорока, отстрекотала», – подумали мы.

Выстрел.

Сорока, как нам показалось, на это даже носом, то есть клювом, не повела.

Промазал.

Виктор Александрович перезарядил, перевел планку прицела. Щелкнул боек. Послышался глухой щелчок о дерево, видать, пулька попала в ветку, на которой сидела сорока. От неожиданности та подпрыгнула, но... решив, что ничего страшного не произошло, снова опустилась на прежнее место.

– А теперь, ребята, кто у нас самый меткий?

И пока мы решались, кому стрелять, пока прилаживались к прикладу, и пока целились, сорока, почувствовав неладное, решила судьбу не испытывать.

Стреляли вдогонку.

– Ладно, пусть летит, – сказал Виктор Александрович даже с некоторой радостью, что сорока осталась жива, – а вон видите веточку на той, большой, на которой сорока сидела, самую крайнюю.

Он приложил винтовку к плечу, прицелился, замер, что даже и мы все перестали разговаривать и затаили дыхание.

Выстрел.

Ветка упала.

– Да, Виктор Александрович, это – У! Он и белке в глаз попадет. А сорока что, какая добыча!

Патрончики мы взяли себе, пахнут порохом, маленькие, но для чего-нибудь пригодятся.

День был ясный, с легким морозцем. Крупинки снега, как маленькие хрустальные кристаллики, переливались на солнце всеми цветами.

Звонко, не по-зимнему радостно, тенькали синицы.

Было преддверие весны.

После окончания третьего класса нашу группу Виктор Александрович и Евгения Михайловна повели в магазин покупать нам новые штаны. Я учился на четверки, и мне как ударнику были обещаны шерстяные или другие, получше обычных из х/б.

Я был самым маленьким, и на меня никак не нашлись, были и длинные, и широкие, и в поясе могло поместиться несколько кулаков, а чтобы хоть малечко подошли – никак.

Когда все имеющиеся в магазине штаны были перемерены, мне сказали, что надо взять из тех, какие наиболее подходят, и что я один задерживаю всех.

Я не выдержал и заплакал от обиды, к тому же стали говорить, что на следующее лето еще одну группу отправят к родственникам и, возможно, там буду и я, а как хотелось появиться у своих в новых штанах. Все-таки мои слезы возымели действие, и мне купили штаны, какие мне больше понравились и по цвету, и по шитью.

После покупки штанов и в честь нашего успешного окончания учебного года (без второгодников) Виктор Александрович купил нам еще и большой ком подушек – наших самых любимых. Штаны свои я аккуратно разложил на доски под матрасом и каждое утро и каж-

дый вечер проверял, чтобы случайно не образовалось ненужных складок.

И все-таки через год, когда мне сказали, что я еду в Томск, эти штаны у меня были изъяты, как я ни просил. Пришлось ехать в старых.

Ну ладно, все-таки домой, и они – штаны – достанутся кому-то еще совсем новыми, ведь надевал-то я их всего один раз, и то на примерке.

В спальнoй комнате моим соседом по койке был Олег, наши с ним кровати стояли рядом. А через тумбочку была кровать Бори Таймера, тихого и скромного мальчика. Друзей у него не было. Он держался как-то в сторонке, один. Но всегда был занят. Вечно строгал, точил, постукивал, что-то к чему-то прилаживал.

Юрки из-под ниток и резинки были для него самыми необходимыми предметами, каждая найденная им железка находила у него применение. Что-то у него вертелось, крутилось, трещало, даже катилось. Зимой он задумал сделать пароход, чтобы плыл при помощи пара, а не как мы делали свои кораблики: щепочка, палочка-мачта да кусочек бересты вместо паруса.

И, к нашему удивлению, построил.

Весной, когда на Чворе появились первые забереги, мы с Борькой во главе пошли запускать его пароход.

На досточке с полуметр длиной Борькой были установлены и закреплены баночка для топки (в ней разводился костерок), над ней баночка с крышкой (вместо котла), трубка для подвода пара к основной шестерне, сделанной им из юрка, к которому Борька приделал лопатки. На валу этого юрка, по бокам досточки, находились также юрки с лопатками, которые касались воды.

И когда Борька развел костерок, пошел пар, и завертелись юрки, и пароход поплыл, то мы такое «ура!» закричали, что оно было слышно не только по всей Чижапке, но и на Кривошеенке тоже.

Борька стал самым уважаемым, самым почитаемым среди всех нас. Мы всячески старались ему угодить, помочь. Каждый хотел поддержать пароход, запустить его.

Несколько дней, как только выпадало свободное время, мы бежали на Чвор запускать Борькин пароход.

Однажды он далеко отплыл и когда его доставали, сильно повредили. Борька не обиделся, по крайней мере, не показал вида, но и восстанавливать не стал.

Разгоралась весна.

Начинала оттаивать земля.

Появилась первая травка, и мы стали играть в свои обычные весенние игры: «чижика», «котел», лапту.

.....

Борька Таймер – изобретатель, детдомовский Кулибин, на многое ты был способен.

Что совершил?

Привезли картошку, целый неводник, с Успенки – нашего подсобного хозяйства. Пристали возле мостика, так ближе к детдому, к погребу.

Разгружаем.

Хорошую – в ведра, в мешки и на телегу. Плохую – за борт.

Вместе с плохой нет-нет и хорошую опустим, потом достанем, испечем. Ведь, кажется, попроси с полведерка, неужели нам не дали бы – ан нет! – надо вот так, чтобы никакое начальство ни о чем не догадывалось. Неводник разгрузили. Картошку засыпали в погреб по закромам.

Когда неводник опять ушел на Успенку, мы стали нырять и доставать. Было начало лета. Вода была прохладной. Но достали вполне, чтобы испечь. Тогда нас и кормили получше, и на кухне после обеда стало кое-что оставаться, а кто хотел добавки, почти всегда мог ее получить.

Но костерок, ручей, лесочек и печеная картошка – это совсем не то, что столовая.

Печь пошли за могилки, там на бережке ручья нами было облюбовано местечко, лес рядом, вода рядом и недалеко от деревни.

Когда картошку испекли, поели, покурили и стали костер тушить, я взял баночку и пошел за водой. Наступил на одну кочку, на другую и, видать, потревожил осиное гнездо, и осы меня так нажалили, что потом я

кое-как доплелся до спальни комнаты. Меня знобило. Ребята навалили на меня одеял, и я провалился, как в яму.

Проснулся на следующий день, почувствовав, что меня кто-то зовет. Спальная комната вся озарена солнечным светом, в ней никого нет.

– Коля! Коля! – донеслось с улицы.

Я подошел к окну, растворил его и посмотрел вниз.

Внизу, под окном, стояла Нина Решетко, наша детдомовская девочка.

Мы какое-то время смотрим друг на друга, не зная, о чем говорить, ведь если ребята узнают, проходу не дадут, будут дразнить.

– Ты вчера сильно болел? – наконец спросила она.

– Не знаю, – ответил я.

– А девчонки говорили, что доктор приходил.

– Не помню. А где все? – спросил я, чтобы не говорить об этом.

– Ушли за колбой, – ответила она.

– Прямо все?

– Кто хотел.

– И девчонки?

– И девчонки тоже.

– А ты?

– Да так, – ответила она. Сорвала одуванчик, взяла кусочек земли, завернула в тряпочку и сказала: «Лови!»

С первого раза я не поймал, и невысоко она бросила. Но со второго раза постарался, наклонился пониже – и одуванчик у меня в руках.

Господи! Я не знаю, что такое полное счастье, но что такое счастливое мгновение, я знаю наверняка, ибо я его испытал.

К середине лета отправили первую группу детдомовцев, у кого отыскались родные или близкие. С этой группой уехала и Нина Решетко. Как было горько. Как я плакал, спрятавшись в больничном саду. Мне и теперь кажется, что тогда из меня вынули стержень жизни. Эта маленькая девочка, как светлый лучик, сверкнул в моей жизни, осветил мою душу и тут же погас.

Однажды, еще до приезда в Чижапку с другом, я был там со своим братом Ильей. И мне сказали, что приезжала одна женщина, ваша, детдомовская, и так плакала, так плакала, а потом вечером с обратным рейсом она уехала.

Я сейчас уверен, что это была ты.

Здравствуй, Коля!

Завалил ты меня письмами, аж два подряд. Ну, спасибо!

Только вот отвечать на них время нужно, а летом, как обычно, всегда его не хватает. Но попытаюсь.

Первый вопрос. Про керосиновые лампы. Да, я помню, что они назывались, как винтовки – линейными, но по каким параметрам, не знаю.

Ведь линия – это мера длины. Речь скорее шла о размере стекла, а не лампы.

Второй. О перьях. Кроме перечисленных тобой, помню еще «88», «пионер» и «щучка».

Третий. Картины. Картины были огромные, хорошо нарисованные, в красивых золоченых рамах. Наверное, это были подлинники. Но как они там оказались? Помню «Покорение Ермаком Сибири», «Утро в сосновом лесу», «Три богатыря», «Баскаки собирают дань» и, по-моему, «Боярыня Морозова». И висели они, скорей всего, в разных комнатах. Не могли же они находиться в одной какой-то комнате, даже в классной или пионерской, или как там ее называли?

Помню, что на лестничной площадке в большом корпусе стоял огромный самовар с питьевой водой, а за ним на стене висело старинное зеркало.

Четвертый. О поленницах. Да, я также думаю, что заготавливали их для пароходов. Они больше всех сжигали дров. Я даже помню, что мы не только кололи и складывали дрова, но и валили деревья. Норму нам

задавали в кубических метрах, сколько именно, точно сказать не могу.

Дело было зимой. Мы (наша группа) во главе с воспитательницей пошли на третью корчевку. Там нас встретил мужик (нормировщик). Он выдал нам пилы и топоры. Нас разделили по парам. Сейчас я уже не помню, с кем я оказался, но помню, что каждой паре он показывал, какую лесину (березу) валить и как ее запиливать, чтобы она упала в нужную сторону.

Снег был глубокий, и каждое дерево приходилось обтаптывать, чтобы не оставлять высоких пеньков.

Когда мы допиливали до самой середины, сначала с одной стороны, а потом – с другой, мы его подзывали или он сам подходил и длинной палкой упирался в ствол, и березы падали в заданном направлении.

А запомнил я это потому, что на очередной лесине палка у него соскользнула, и береза осталась стоять. Зато, когда он снова ее толкнул, то она упала не как обычно – вперед, а как-то подпрыгнула вверх, назад и вправо, где я как раз и стоял. Ее комель прошел совсем рядом со мной, почти перед глазами. Еще бы чуть-чуть, и меня точно съездило по сопатке, то есть по лицу (помнишь наше детдомовское? – Как дам по сопатке!).

В памяти даже запечатлелись желтоватые годовые кольца на белом срезе. Показал он и как правильно рубить сучья, и где стоять, чтобы топором не угодить по ногам. Оказалось, что сучья рубить надо по ходу их роста и стоять не на той стороне, на которой рубишь, а с противоположной.

Помню, что пробовали хитрить – поленицы делали редкими, тогда нормировщик подходил и толкал ее ногой, разваливал ее. И нам приходилось опять начинать с нижнего ряда.

Потом, плывя на пароходе, я видел на каждой пристани гигантские бурты березовых поленьев. Часто и мы – желающие пассажиры – помогали матросам грузить их на пароход.

Пятое. Коллективные читки. Помню. Очень даже помню. Особенно мы любили слушать про партизан. Я хорошо помню эпизод из книги, который мы потом пересказывали друг другу. Это как партизаны, чтобы отвлечь внимание немцев, намазали поросенку под хвостом скипидаром и отпустили. Поросенок бегаёт, визжит. Немцы носятся за ним, пытаются поймать, а партизаны тем временем проникли на нужный объект. И книга эта, по-моему, называлась «Партизанские тропы».

Шестое. На сегодня последнее. Как мы продавали рыбу. Я и теперь еще помню подробности, как мы рядились с этой теткой-покупательницей. У нее были весы динамометрические. Там пружина была совсем ржавая. Она подвесила на крючок нашу снизку и говорит: «Вот, смотрите, всего... кг». Мы говорим ей: «Да ваши весы не работают». Она тряхнет ими – вес добавится. Чебаки от тряски срываются и падают на землю, а ее кот, мордастый такой, тут как тут, мы и наклониться за ними не успеваем, как он подхватывает их.

Кажется, Коля, на все твои вопросы я ответил.

Я тебе, наверное, еще не рассказал, как мы хотели живьем поймать лося.

Дело было весной.

По традиции мы каждую весну привозили из леса саженцы рябины, черемухи, смородины и т. д. и высаживали их на территории детского дома. В этот раз мы поплыли через Васюган в устье реки Чижалки на неводнике и увидели двух лосей, плывущих нам навстречу. С нами был В. А. Сухушин – наш директор. Не знаю, чем мы руководствовались, но факт тот, что мы стали приставать к этим лосям. Нас – пацанов – можно понять, но... директор детдома.

Видимо, сыграл охотничий азарт.

Мы плавали вокруг лосей, изматывая их, махали веслами, не давая им подплыть к берегу. Они отфыркивались и мотали своими рогастыми головами. Мы, должно быть, так громко кричали, что нас услышали на базе, потому что оттуда вскоре к нам устремилась моторная лодка.

С моторки мужики стали набрасывать на лосей веревочную петлю.

У них это не получалось. В конце концов, веревка намоталась на винт мотора, и он заглох. Лосям удалось доплыть до берега, но из вязкой глины сил выбраться у них уже не было, и они стояли, утонув в ней по брюхо, тяжело дыша.

Но как только моторка снова затарахтела, они как-а-ак выскочили и галопом через кусты ускакали в лес. До сих пор не могу понять, зачем мы с ними связывались?

А помнишь, Коля, что у нас каждое лето живой уголок был переполнен всякой живностью? Были там белки, бурундуки, зайцы, утки, птицы разные. А ведь мы их ловили голыми руками. Однажды даже ласку поймали. Идем очередной раз с Успенки. Идем, по пути вспугиваем уток, зорим гнезда шершней и прочее. Вдруг увидели зверька, тоненького, длинного, шустрого. Но от нас трудно уйти... когда нас много. Мы тут же его окружили и стали круг сужать. Зверек спрятался в дупло лежащей колодины. Мы затыкаем у этой колодины все дыры, откуда он может выскочить, взваливаем ее на плечи и тащим домой. Во дворе детского дома кладем колодину на землю, все приготавливаем, чем можно накрыть зверька. Одну дыру освобождаем и ждем. Знающие мужики сказали, что это – ласка.

Куда зимой все зверье девалось, не помню.

Таким методом (окружения) мы ловили не только зверушек разных, но также и птиц, к примеру, подлещей уток.

Вспоминаю, как приехал из города учитель географии с необычной для тех мест собакой и мотоциклом. Это был первый мотоцикл в деревне.

Еще, по-моему, у этого учителя была домашняя утка, и он ее использовал как подсадную на охоте на диких уток. До тех пор в Чижапке этого никто не делал, все пользовались чучелами.

Потом эта утка снесла яйцо без скорлупы, и вся деревня сбегалась посмотреть на этот феномен.

Помню, и тебе рассказывал, как мы зимой соревновались, кто в какой спальне жарче натопит печку, и,

сходя с ума от жары, состязались, кто дальше всех пробежит по снегу босиком и в нижнем белье.

Случалось, что на пути встречались «бабы» – детдомовские девчонки – всегда злые на нас, как и мы на них, и держали нас на морозе в своем (опять же) окружении.

Помнишь, как зимой на уроках стоял сплошной кашель, а в кино из-за наших кашлей невозможно было услышать, что говорят герои фильма. Не знаю, рассказывал ли я тебе, как мы лечились от простуды по рецепту нашей сердобольной нянечки.

Как-то в спальном комнате, в печке, накалили кирпич, бросили его в таз с водой, наклонились над ним толпой, накрылись одеялом и дышим, орем вовсю, хохочем, материмся. А тут, представь, в спальню неожиданно заходит директор. Он одного пнул под зад, тот его отборным матом куда подальше. Другого – то же самое. Тогда он срывает с нас одеяло, и мы, вот они, красные, распаренные, предстаем перед ним. Помню, как такая же сердобольная тетка посоветовала нам, чтобы мы не резали сети рыбаков, – мазать деготь от мошкары прямо на лицо. Утром мы еще терпели, но когда стало припекать солнце, кожа на наших лицах стала как кирзовая и горела со страшной силой.

Ладно, Коля, заканчиваю, а то опять почта не примет по весу. Буду в командировке, загляну. А ты приезжай.

6.07.04.

Альберт.

Усть-Чижапку и Кривошеенку разделял ручей, а соединял наплавной мост из бревен.

Весной он поднимался, а по мере спада воды опускался и ложился на грунт. Мост был только пешеходным.

Лошади, коровы и свиньи при большой воде переправлялись вплавь, были еще овцы, но о них я не помню. Что лошади и коровы плавают, мы знали, а вот что плавают свиньи, узнали так. Пошли мы однажды на третью корчевку, просто побродить по лесу, саранок покопать, а попадутся бурундук или белочка, попробовать их поймать.

Собак наших с нами еще не было, они нас обычно догоняли, когда мы шли дорогой между полями где-то уже за первой корчевкой.

Подходим к мосту, а тут в грязи нежится хрюшка, ну как пройти мимо? Прижали ее к берегу (без всякого злого умысла, конечно), что ей некуда, кроме как в воду.

Попробовала туда, сюда – нет, не пройти. И вот она с отчаянным визгом бросается в воду, да так, что на какое-то время вся исчезает из вида. Мы перетрусили: а вдруг утонет?

Нет. Шумно вынырнула и поплыла, отфыркиваясь. Над водой только пяточок, глазки, ушки, да хвостик сзади, остальное все скрыто. Но плывет же.

И нам стало даже весело глядеть на плывущую поросюшку.

Место между Усть-Чижапкой и Кривошеенкой неглубокое, и вода там прогревается до дна, поэтому всякой живности водится во множестве: разнообразные жуки-плавуны, жуки-водомеры, жучки-серебрянки, водяные пауки, мальки, головастики, личинки комаров и стрекоз, пиявки, и всего прочего, неведомого нам.

Купаться здесь мы боялись, вдруг «живой волос» упадет, пройдет насквозь, и не почувствуешь.

Мы остановились на мосту недалеко от чижапского берега, и стали наблюдать за подводной живностью и увидели пиявку небывалых размеров. Поймали ее и решили показать нашей «ботаничке» Лизавете, ну и как бы лишний повод встретиться с ней.

Защемили добычу прутиками и идем.

А Лизавета (Елизавета) была молодой, не намного старше наших девчонок, наверное, совсем недавно после института или даже техникума.

Была она чистюлей необыкновенной, такая стройная, аккуратная, небольшого ростика, плечи приподняты, руки прижаты к талии, а кисти рук отведены в сторону, и походка – не передать.

Больше в Усть-Чижапке таких не было, она была одна. И даже ее пальто, когда она снимала его и вешала на вешалку, выглядело так же, как и на ней самой: рукава прижаты к талии, а края рукавов отодвинуты в сторону.

И мы, детдомовские мальчишки, как бы в секрете друг от друга были в нее влюблены, ведь она совсем не походила на наших девчонок, о поселковских я и не говорю.

Подходим к ее дому. Поднимаемся на крылечко. Стучим. Дверь заперта изнутри – значит, дома. Стучим еще раз. Слышим шаги. Дверь открывается, на пороге Лизавета, но какая-то не наша, в халате, тапочках, без прически.

– Здравствуйте, – недружно здороваемся мы, называя ее по имени и отчеству, – вот посмотрите, что мы поймали на ручье. И показываем ей эту пиявку.

Боже, что мы наделали! Наша бедная Лизавета присела и издала такой крик, что удивляюсь, как мы сами не попадали тут же на месте.

Из-за ее спины на крыльцо в одних трусах выскакивает лесник, полный решимости разобраться с любым.

Мы мигом приходим в себя и врассыпную...

Вот так, наверно, не только у меня одного, прошло самое-самое первое чувство, похожее на любовь.

Сегодня Иван Купала. Утро великолепное. Небо чистое. Ветра нет. Из открытого окна классной комнаты несутся бодрые звуки пианино – играет Соломон. Мы шеренгами стоим на детдомовской площадке и под сопровождение пианино делаем зарядку. Под окном классной комнаты сидит наш пес Индус и подвывает, помогая Соломону и радуя нас.

Еще весной на пароходе «Чехов» привезли пианино и пианиста Соломона. Пианино поставили в классной комнате. А Соломона определили на жительство в небольшую избушку на краю Кривошеенки, отделенную от Чижапки ручьем.

И теперь, когда Соломон не пьяный, а слегка выпивши всегда, он проводит с нами занятия, учит нотной грамоте. От тех занятий я запомнил только вот это: ДО РЕ МИ ФА СОЛЬ ЛЯ СИ, СИ ЛЯ СОЛЬ ФА МИ РЕ ДО. Дальше нескольких занятий учеба не пошла, ибо Соломон вскоре совсем спился, а зимой и умер.

Играл он хорошо. Громко. Бил по клавишам со всей силы своими маленькими волосатыми пальцами. А когда сам еще и напевал, то весь преображался, глаза горели, на губах выступала пена и летела на нас. Он часто исполнял песню «Сидит рыбак на озере». Там были такие слова:

*Сейчас поймает окуня
Любитель - рыболов.*

Тра - ля, ля - ля!

Почти выкрикивая последние слова, он всех нас обводил таким взглядом, как будто он и есть тот самый рыболов, который вот-вот поймает окуня, а мы тут стоим и мешаем ему. Жаль. И нотной грамоте он нас не научил, и ни одной песни из его нотной тетради мы так до конца и не выучили.

Вот зарядка закончилась.

На Чвор!

Купаться!

Ура-а-а!!!

И мы бежим. Мимо школы, мимо магазина, мимо почты, мимо пекарни, сбегает к Чвору и – в воду.

Вода у берега кипит.

У девчонок пляж отдельный, свой. Плавать они не умеют, почти все, но у них трусики на трех резинках - на поясе и на ногах.

Они надувают их и плавают, как на воздушных шарах, подгребая под себя обеими руками враз, при этом сильно-сильно колотя ногами по воде, так что брызги высоко взлетают над ними, а спереди даже поднимается небольшая волна. Так и мы иногда, играясь, нагоняли друг на друга волну, плывя по-девчачьи.

На второй корчѣвке, справа, было небольшое поле гороха, обыкновенного, белого, полевого. Оно там было почти каждый год. Мы уходили на третью корчѣвку, оттуда, уже лесом, возвращались до этого поля. Из завалов высматривали, где могут быть самые спелые стручки, к ним подползали, быстрее-быстрее толкали за пазуху и так же ползком возвращались к завалу.

Сами побеги старались не рвать, чтобы другие стручки смогли поспеть и чтобы не оставлять следов, потому что поля охранял объездчик. Он ездил на коне и видел далеко, но и сам был заметен издали. Однажды нас все-таки поймали, не на поле, а когда мы уже переходили ручей.

Из управления колхоза, стоящего на взгорке напротив моста, спустился колхозник и встал у самого схода.

– Ребята, пойдете-ка со мной, – сказал он.

Мы хотели уж было повернуть обратно, но с той стороны тоже шли. В управлении было полно народу. Все стали смотреть на нас. Мы столпились у двери.

– Та-а-ак, – сказал директор, – у кого что в карманах, давай на стол. Мы подходили к его столу и выворачивали карманы.

Кроме гороха, были и ножички, выточенные из плоских напильников, с ручками из патронов, манки на бурдуков, кусочки проволоки, грузила, нитки, обрывки верёвочек, и ... мало ли чего, ненужного другим.

– Ну, не знаю, – сказал объездчик, глядя на рассыпанный по столу горох, я совсем недавно там проезжал. Может, им «берёзовой каши» дать немножко, не досыта, – заключил он после некоторого молчания.

Я подумал, что это, может быть, каша на берёзовом соке.

– Ладно, – сказал директор, – осматривая нас, – пока не надо.

Потом нас немного пожурили и отпустили и, главное, горох отдали, а все остальное оставили, вроде за место выкупа. Когда мы шли в детдом, я спросил ребят: а какая это – берёзовая каша? Они ответили: «А это когда вот сюда берёзовым прутиком», – и засмеялись.

– Этот бы смог, не зря объездчик.

В детдоме нам ничего не было, может, и не сообщили. А через несколько дней мы почти всем детским домом ходили убирать горох на большом поле, что было сразу за Чижапкой, справа от дороги, ведущей в Березовку.

Горох складывали на телеги и отвозили к колхозным амбарам. Обедали мы прямо в поле. Последнюю телегу гороха отдали нам. Мы ее сгрузили возле столовой и потом еще несколько дней ворошили эту копешку, отыскивая целые стручки.

Одно время у нас появилось занятие: на Чворе, у самой кромки воды, перебирать ногами и приговаривать:

«Кисель-мисель, дай воды

По колено глубины.

Кисель-мисель, дай воды

По колено глубины».

Так можно было замиселиться в песок до колен, а иногда и настолько, что самому было уже и не освободиться, как только с помощью ребят. И однажды кто-то наткнулся на револьвер, самый настоящий: дуло, рукоятка, барабан, все как надо, только покрыт он был толстым - толстым слоем ржавчины вперемешку с песком.

Когда его немножко отчистили и отмыли, нашим восторгам не было предела: теперь заживем. Вот это да! Можно и на медведя пойти, и вообще уйти из детдома – не пропадем.

Старшие его отняли и пригрозили, чтобы никому ни гу-гу. И вскоре снаружи он принял подобающий револьверу вид. Но как прочистить ствол и барабан, чтобы он вращался и можно было посмотреть, сколько в нем патронов? Чем? Может, керосином? А что? У нянечки попросили керосина раз да другой. Она заподозрила неладное – зачем ребятам керосин, если летом лампы никогда не зажигали, итак светло? Выследила, сказала директору. И нас разоружили.

Это было во второй половине лета. Вода в Чворе начала спадать, но еще ручей, вытекающий из заливных озёр и впадающий в Чвор неподалеку от того места, где мы обычно купаемся, едва обозначился. В этом же месте летом пристает небольшой дощатый катерок, почти игрушечный, возивший по Васюгану почту.

Мы, детдомовские ребяташки, человек пять - шесть, окоченевшие, только что вылезли из воды, насобирали щепочек, развели костерок, сели вокруг него, сидим, дрожим. Вроде и солнышко есть, но дует холодный ветер, северный, резкий, и мы никак не можем согреться.

Толя Романенко, пока мы купались, плавая и барахтаясь в воде, как бы караулил наши одежки, сам даже не раздеваясь. Он вообще и плавать не умел, и воды боялся. А тут, в этот день, на него как нашло. Ему захотелось непременно, прямо вот сейчас, пойти к ребятам, что рыбачили в устье ручья на другом его берегу, а у самого и удочки нет, и не рыбац он вовсе. И вот стал просить нас всех по очереди пойти с ним. Все отказались, ведь надо было опять лезть в воду, а мы только-только вылезли из нее, все в пупырышках, как в гусиной коже.

– Тогда пойду один, – сказал он.

– Куда ты? Ты же утонешь, – сказали ему.

– Ну и что, – ответил он, – пойду не вверх, а вниз.

И стал собираться. Все с себя снял. Связал в узелок. Примостил на голове и вошёл в воду, придерживая его одной рукой.

Мы стали смотреть за ним в тревожном предчувствии. Сначала он шел правильно, по кромке, по которой и рыбаки прошли, но вот стал забирать левой, левой, а там обрыв. Вот оступился. Ушел под воду. Все, кто был на берегу, вскочили, но не знали, что делать. Как назло в этот день никого из взрослых с нами не было. Когда первое оцепенение прошло, все стали кричать рыбакам у ручья помочь.

Один из рыбачивших мальчиков бросил удочку и поплыл. Поплыл тихо, по-собачьи, опасно, просто отозвавшись на крики. Толя Романенко всплыл столбиком, как-то странно – макушкой кверху, лицом вниз. Задержался немного и опять ушёл под воду, даже не махав руками, даже не позвав на помощь. Во второй раз он показался всего на полголовы, и тоже макушкой кверху. Стали кричать плывущему:

– Хватай! Хватай! За волосы!

Мальчик успел только шлепнуть ладошкой по воде над головой Толи. На третий раз голова его едва обозначилась над поверхностью воды, и он тотчас ушёл вниз. И больше он не всплывал.

Прибежали взрослые. Кто-то принес багор. Несколько раз попробовали. Нет. Глубоко, Можно поранить. Принесли бредень. Завели.

И вот на травке, возле спуска к Чвору, лежит наш Толя. Позвали врачиху. Она пришла, наверное, сделала все, что полагается. Мы стояли вокруг в ожидании невозможного. Невозможного не совершилось. Было жалко и больно смотреть на бледное безжизненное тело Толи Романенко, на его недвижный поплавок.

Толю похоронили. И буквально через несколько дней после похорон приехал Толин отец из Мурманска. Толя знал, что к нему едет отец, и так радовался. А мы завидовали ему, ведь он был первым среди всех нас, детдомовцев, кого бы забрали родители.

Умер Толя от разрыва сердца.

Часто мы спрашивали воспитательницу:

– А с какого я года?

– А где мой папа?

И так почти каждый из ребят.

Однажды она принесла лист бумаги и стала нам зачитывать.

– «Такой-то», с сорокового года.

– Отец погиб на фронте.

– «Такой-то», с сорокового года.

– Отец погиб на фронте.

И так всей группе.

Тогда мы верили, что все мы с сорокового года рождения, что наши отцы погибли на фронте, иначе мы в детском доме не оказались бы, а наши мамы потерялись в дороге, когда наступали фашисты.

Только по прошествии многих лет я стал думать, и уверен, что воспитательница так говорила, чтобы никого из нас не обидеть, чтобы никто не почувствовал себя не таким, как все. Хотя для большинства ребят всё было совсем не так.

В основном, мы были из Сибири, из ближних мест: томские, новосибирские, из Красноярска и Кузбасса. У большинства отцы и старшие братья были на фронте. А без них, основных кормильцев, семьи голодали, и нас, самых младшеньких, сдавали в детские приюты, не от хорошей жизни, надо полагать, а как единственную возможность спасти от голодной смерти, хотя мы и находились вдали от фронта.

Здравствуй, Коля.

Умеешь ты, оказывается, быть настойчивым. Уж как мне некогда, ну вот бросил все и пишу тебе, хотя повторяться не хочется. Да, я представляю, что у тебя там за подъезд, если даже из почтовых ящиков тащат, чего бы там, а то письма. Теперь придется посылать заказные с уведомлением, чтоб было спокойнее.

О себе и семействе своем не пишу, только воспоминания.

Про Валю Кракову. Помню я ее еще по малышейскому корпусу. Ее кровать стояла недалеко от двери спальни комнаты, слева. Она целыми днями лежала на спине, заложив руки за голову и, раскачиваясь из стороны в сторону, напевала, светясь и сияя от восторга:

– А-а. А-а... Алик Сущенко.

– А-а. А-а... Алик Сущенко.

Этого Алика Сущенко я, признаться, помню слабовато, наверно, у него не было никаких примечательных черт, но чем-то он все же запал в душу Вале Краковой, раз она пела о нем свои песни.

Помню, что у ней на голове, на самом темечке, не было волос, с ладонь; по-видимому, не было и части черепа, потому что очень было заметно, как под этой головой кожицей пульсирует кровь. Потом, когда мы пошли в школу, ее определили на кухню. Она мыла посуду и подъедала с нее остатки пищи.

Еще я ее запомнил почти девахой, упитанной, с веч-но красными щеками. Она уже реже пела «Алик Сущенко», но все больше сидела, раскачиваясь, в глубокой задумчивости, пока ее не окликнет повариха тетя Настя или кто-то из дежуривших по кухне.

Сергея Рябцев у меня сейчас ассоциируется с Герасимом из «Муму», только что не немой. Высокий, костистый парень и уже тогда недюжинной силы. Помню, как он полотенцем «усыплял» себя и с бешеными глазами гонял нас по корпусу.

Помню, что одно время я сидел с ним в школе за одной партой, и он прямо на уроке мог вытворять такое, что мне не только писать, но и вспоминать об этом как-то неприятно.

А работник он был отличный и безотказный.

Летом он постоянно возил воду в бочке на быке или на кобыле по кличке Находка.

Соломона тоже стал понемногу забывать. А кажется еще совсем недавно помнил и фамилию его, и отчество.

Помню, какое это было событие, когда в детдом привезли пианино. До тех пор для нас и патефон был чудом. Помню, как мы слушали его, прикладывая уши к нему, стараясь понять, откуда льется звук. И как только воспитательница отворачивалась, мы моментально совали руки внутрь под основание пластинки. Так мы и не поняли, в чем суть.

Тут, представь, привозят огромный ящик. Я сам принимал деятельное участие в его разгрузке и распаковке.

У всех был один вопрос: «Что там такое?»

Кто-то изрёк: «Пианина». Что за пианина? Музыка такая, и т. п., и т. д. Когда разобрали ящик, перед нами предстало черное, блестящее на солнце чудо – пианино. Вся деревня сбежалась посмотреть. Все ахали, цокали языками, каждый хотел прикоснуться руками к этому чуду.

И вот с этого момента я помню Соломона. Он по-хозяйски своим гортанным голосом попросил всех расступиться. Мы послушно расступились. Он поставил рядом табуретку, сел на нее, открыл крышку и заиграл. Наверное, что-то классическое, нам непонятное. А потом запел:

*«По росистой луговой,
По извилистой тропинке
Провожал меня домой
Мой знакомый с вечеринки...»*

Все сразу заулыбались. Песня хоть незнакомая, но такая родная, деревенская. Я, если напрягусь, то смогу ее вспомнить до конца.

Все стали просить его еще что-нибудь спеть, но Соломон сказал, что инструмент надо затащить в помещение, а то в любое время может пойти дождь, и пианино испортится. Мы не могли этого допустить, и срочно

стали затягивать пианино через окно большого корпуса. И уже там Соломон продолжал играть и петь без нашей просьбы.

Наверняка ему самому это было в удовольствие, ведь когда он играл последний раз, кто знает.

И вот с этого дня Соломон стал, пожалуй, самым уважаемым человеком во всей Усть-Чижапке, хотя внешне он был неприятным, с большим ртом и на губах его всегда была пена. До Соломона я не помню уроков пения (я, кажется, вспомнил его фамилию – Шрайдер или Шнайдер). А как появились пианино и Соломон, мы все запели. Хорошо запомнилась песня:

*Сидит с утра на озере
Любитель - рыболов.
Сидит, мурлычет песенку,
А песенка без слов,
Траля - ля - ля...*

От него я впервые узнал, что бывают голоса первый, второй, третий, что такое тенор, баритон, бас. Что при пении не надо стесняться разевать рот, наоборот, надо его разевать так, чтобы могло войти яйцо, и т. д.

Потом, ты помнишь, он покатился по наклонной плоскости (как говорит Верка Сердючка), стал спиваться. Видимо, не выдержал испытания «славой». Пил он все, что горело. Заходил в гости к женщинам и выпивал у них одеколон и духи.

Сухушин не раз его выгонял или переводил на менее престижную работу. Я даже помню, как он зимой долбил пешней содержимое детдомовского туалета, грузил это «добро» в короб и увозил на поля.

Помню такую картину: лето, жара, а он валяется в сельповском дворе, и огромный племенной бык слизывает с его лица все то, что вышло наружу. Кстати, сейчас вспоминаю, что рабочие и колхозники зимой на работе пользовались спецодеждой (верхонки и куртки) из шкур тюленей. Я сам в прошлом году купил такую шапку за четыре тысячи рублей.

Писал я тебе в том письме, как мы глушили рыбу в Васюганском ручье? В бутылку насыпали негашеной извести, заливали водой, затыкали чем попало, бросали в воду, сами падали на землю и ждали взрыва.

Бутылки уносило в Васюган, а взрыва ни одного, по моему, мы не дождались. Кто нас этому научил?

А вот как ловить щук голыми руками, этому нас «научил» Пономарев – директор школы («без руля и без ветрил»).

«Насыпаете, – говорит, – на мелководье клюкву. Щука подплывает, глотает ее и от кислоты зажимается, тут и хватайте ее голыми руками».

Помню, что однажды мы действительно ловили рыбу голыми руками, только щурят. Летом, после того как в Васюгане резко спала вода, возле ручья остались большие лужи, а в них – щурята. Мы стали за ними гоняться и такую подняли мусть, что они поневоле высовывали из этой грязи свои морды. И тут только успевай.

Ты бы, Коля, написал еще, как мы хлеб морозили. Одни ходят, прячут (например, в саду на деревьях или

штaketнике), а другие ищут. Потом этот мороженный хлеб (птюху) зубами невозможно было угрызть, ломали в дверях или в дверцах печей и ели.

В чем прелесть, до сих пор не пойму. Видимо, сам процесс прятания и поиска нам нравился. Я не помню, чтобы среди нас процветало воровство, но и ангелами мы тоже не были, все мы – детдомовцы – потихоньку шкодили. Воровали на полях горох, турнепс и картошку.

На дежурстве по столовой при получении продуктов со склада приворовывали сахар и сухофрукты.

Был один пацан, который в это дело привнес свою особую струю, тащил все, чем мы раньше и не интересовались. Он даже умудрился проделать лаз под колхозный амбар, ножом в полу между досок проделал щель и к нему в шапку сыпался овес, который он потом жарил на плите в недостроенной столовой. Он и нас научил жарить на ней и овес, и горох, и пластики картошки.

У всех у нас были прозвища, весьма нелестные, но точные, я и сейчас многие помню, помню и их обладателей. Как-нибудь (при встрече) об этом поговорим.

Ладно, заканчиваю.

Будь здоров, Коля.

P.S. Когда получишь это письмо, сразу сообщи. Третий раз приписывать не буду.

18.03.2005 г.

Альберт.

В нашем детском доме было два замечательных мальчика, два Коли: Коля Скворцов и Коля Родиков.

Были они из старшей группы. Учились на два класса впереди нас. Коля Скворцов был отличником.

Одно лето он даже отдыхал в пионерском лагере Артек, куда посылали только самых-самых-самых, но был он скромным и не зазнайкой. Все, кто к нему обращался, взрослые или свои, детдомовцы, называли его только Колей.

Евгения Михайловна, наша воспитательница, всегда ставила его нам в пример и говорила, что если кто будет плохо учиться, того отправят в ремесленное училище, то есть в ремеслуху, а мы были о нём такого наслышаны, что пуще всего на свете боялись туда попасть.

Да, Коля Скворцов был гордостью и славой нашего детского дома.

Коля же Родиков был во многом не таким. Учился он значительно скромней. На вид был проще, но строен и мускулист, и всегда готов был помочь там, где требовалась сила и сноровка. И хотя он был самым сильным из всех, для детдомовских ребят он был просто Колька. Его руки были постоянно заняты. Он жал березовую губку, каждую весну новую, а старую отдавал нам на мячик для игры в лапту. Может быть, вот такая несхожесть и тянула их друг к другу. Но особо они подружились, когда детдом построил свой клуб со сценой и залом. На

сцене установили пианино, на котором после Соломона давно никто не играл, и оно было закрыто на замок, чтобы мы его окончательно не расстроили.

В зале установили спортивную стенку, перекладину, брусья, разостлали маты.

Мы стали туда ходить и заниматься, кто на что способен. Тогда была в моде акробатическая гимнастика, и нас тоже ею заинтересовали. Мы разучивали незамысловатые пирамидки для показа их на праздниках со сцены перед зрителями.

А Коля Скворцов и Колька Родиков еще готовили вдвоём и свои отдельные номера. Это у них очень даже здорово получалось, и всем нравились их выступления.

В первое лето они ездили на спартакиаду школьников в районный центр Каргасок, а на следующее – в Томск, откуда привезли дипломы участников спартакиады и мяч, большой, настоящий, кирзовый, с камерой и шнуровкой.

Мы встречали, их как героев.

Вот мяч надули, зашнуровали и пошли на площадку (как Колька объяснил) играть в футбол.

Разделил он нас на две команды. Обозначил ворота, эти ворота – ваши, а эти – ваши. Поставил в них вратарей. И стал разводить нас: ты – стой здесь, ты – стой здесь, ты – стой здесь, и так всех.

Началась игра.

Решительные ребята, долго не раздумывая, сразу же устремились за мячом, ребята поскромней остались стоять на своих местах. Когда недалеко от меня прокатился мяч, а я на него соответствующе не отреагировал, Колька подошёл ко мне и сказал: «Ты что стоишь?»

– Но ты же сам сказал, чтобы я стоял здесь, – оправдываясь, ответил я.

– Бегать надо, – повысил он голос.

Я стал бегать, но опять не так.

Убедившись, что толком никто не понимает сути игры, он безнадежно махнул рукой: «А, как хотите!» – и ушел, рассердившись.

Мы же, как щенята, которых вдруг отпустили на волю, от радости визжа и лая, понеслись наперегонки за мячом, чтобы хоть разок его укусить, то есть пнуть.

В тот день мы за мячом гонялись по всей детдомовской площадке, побывали во всех ее углах, с единственными перерывами на обед и «мёртвый час».

К сожалению, вскоре мяч проткнули, а потом и совсем истрепали на нет. Но желание пинать хоть что-нибудь у нас ещё долго сохранялось, причиняя невосполнимый ущерб нашим ботинкам, доставалось и ногам. А какие хлопоты из-за этого были у наших воспитательниц!

К осени клуб переделали под столовую, потому что старая столовая стала ветшать на глазах: прогнулась крыша, плахи пола расхлябались и местами прогнили, печь постоянно трескалась и дымила, и сама столовая по самые окна осела в грунт.

Ещё хочу сказать несколько добрых слов о мальчике по имени Мия.

Его привезли в детдом осенью в начале учебного года.

Мы уже учились в третьем классе.

Был он из васюганских ханты (остяков, как их тогда называли). Его родители утонули на рыбалке, а близких родственников не отыскалось.

Был он такой полный, медлительный, круглолицый увалень. Про таких в шутку говорили: глаз узкий, нос плюский, и сам нерусский. Не знаю почему, но между мной, Олегом и Мией возникла взаимная симпатия. Наверно, он признал в нас своих младших братьев, и как со своими младшими братьями он играл и возился с нами. Издавая боевой клич (должно быть, своих далёких предков) «Ки-ки-ки-ки! Ки-ки-ки-ки!», он наступал на нас, сводя и разводя руки, согнутые в локтях. Но при этом рот его расплывался в хитрой улыбке, а из узких щелочек глаз поблескивали карие угольки.

Мы же, прыгая, и хохоча, налетали на Мию, хлестали его полотенцами, скрученными в морковку, и отскакивали, чтобы через какое-то время снова наброситься.

По всей вероятности, ему было больно, ведь мы хлестали со всей силы, какая в ту пору у нас была, да ещё муслили хвостики этих морковок, чтобы было веселей.

Но ни чувства боли, ни чувства обиды или тем более злости мы не замечали на лице Мии.

Мы скакали по койкам, бросали в него подушки, дупили полотенечными морковками, а он и не старался нас поймать, просто делал вид, что хочет поймать, и только.

Однажды я убежал от него по коридору, забежал в спальную комнату и со всего лёта нырнул под кровать, и – прямо переносицей о её железную ножку.

Вот уж где я поскулил, вот где покорчился, видать, за все те боли, причинённые мной Мии.

... Много времени прошло с тех пор.

Много воды утекло из Васюгана. Нет уже там нашего детского дома. И от всей Усть-Чижапки осталось несколько домов, вроде охотничьей заимки. Забыл я многих ребят, их имена, прозвища, а вот Мию не забывал никогда. А так бывает только с настоящими друзьями.

В Усть-Чижапке жила одна эстонская семья, эвакуированная в Сибирь во время войны. Они работали в колхозе. Их дом стоял над обрывом возле моста на Кривошеенку. Жили они обособленно. Их сын одну зиму учился с нами, а на следующую бросил. Он плохо говорил по-русски, и был для нашего класса как бы переросток. А запомнил я их вот почему.

В начале сентября, когда огороды уже убрали, а в школе всюду шли занятия, и по утрам были хорошие заморозки и выпадал иней, мы: я и двое детдомовских мальчиков, – решили сходить попить картошки.

Была цветущая пора бабьего лета. Сияло солнышко. Деревья кругом красовались во всем своем убранстве. Мы решили далеко не ходить, а сходить за могилки и по пути пройти по огороду возле могил (любой огород после уборки можно перекопать и насобирать для себя что-нибудь, во всяком случае – картошки).

Возле обваловки развели костерок, рядом сложили собранные картошины, ждем, когда нагорят угли.

Сидим открыто. А что нам? Мы же не воровали.

И вот, когда угли нагорели, мы разгребли их, сложили на это место картошины и снова сгребли, на дороге показались эстонцы. Там возле обваловки, недалеко от того места, где мы расположились, был их погреб. Он был открыт, но мы туда даже и не заглядывали.

Они шли спокойно, и мы сидели спокойно.

Но то ли они, то ли кто из нас сделал резкое движение, но мы вдруг срываемся с места и бежим.

Естественно, они за нами, ведь, если мы побежали, значит, виновны, значит, нас надо догнать.

Ну что нам стоило подождать их и, если бы они к нам подошли и спросили, что мы делаем, объяснить им, что печем картошку, что собирали ее там-то и там-то, в крайнем случае, они заглянули бы в свой погреб убедиться, все ли на месте.

Мы пересекли лужок, подбежали к дороге, ведущей из деревни в лес и на поля. Здесь один из мальчиков побежал в сторону леса, другой, наоборот, в сторону деревни, а я напрямиком через дорогу в болото, думая, что за мной не побегут.

Прыгнул раз-другой с кочки на кочку и понял, что мне не убежать, и я остановился.

Виктор Александрович был страшно недоволен, ведь ложилось пятно и на воспитанников детского дома, и на весь коллектив, и на него самого как директора.

– Ну, что, – сказал он, – когда мы остались одни, – рассказывай, с кем был? Я молчу.

– Ну да, ты ничего не скажешь, понятно, но мне-то можешь сказать, обещаю: никому ничего не будет.

И я начал выдумывать. Дескать, двое деревенских на перемене подошли ко мне и дали печеную картошину. А когда я ее съел, они спросили: «Вкусно?.. Я ответил: «Вкусно!» Тогда они сказали, что если вкусно, то сегодня после уроков можно будет сходить за могилки, где уже припасена картошка, и ее испечь. А за это я им обе-

щал завтра принести свою утрешнюю порцию хлеба – пайку (птюшку, как мы ее называли). С хлебом тогда было туго и нам, детдомовцам, и деревенским тоже. А кто они, я, конечно, не знаю.

Это было, вероятно, мое первое сочинение, и весьма неудачное, потому что тот, кому оно было адресовано, его не понял и не оценил, вернее, оценил, но по-своему.

После второго и третьего талдычания одного и того же Виктор Александрович не сдержался и дал мне такой позатыльник, что у меня зачесался нос, и из него потекла кровь.

И я заплакал. Нет, не оттого, что больно, не оттого, что потекла кровь, заплакал оттого, что мы ведь не воровали, а как это объяснить, все равно не поверят.

Виктор Александрович подошел и стал успокаивать, жалеть. И я разревелся еще пуще, так, что перехватывало дыхание, и, казалось, вот-вот я задохнусь. Тогда он отошел к окну и стал в него смотреть. Кровь идти перестала. Виктор Александрович, не оборачиваясь, сказал, что я могу идти. И я вышел.

Эстонцы уехали, как только им вышло разрешение вернуться на родину. Незаметно разобрали и их дом. Никакой злости или обиды я на них не держал и не держу. Да и сами они, наверно, переживали, когда потом спустились в погреб и убедились, что там никто ничего не брал. Дай Бог, чтобы, не глядя ни на что, и у них сохранились добрые воспоминания о нашей Усть-Чижапке.

В начале сентября (уже шли занятия в школе) наша группа третьеклассников пошла на Успенку, где находилось наше подсобное хозяйство, убирать картошку. Обычно туда плавали на неводнике, но в этот раз его уже отослали с другими ребятами. Нас пораньше покормили обедом, и мы пошли, чтобы к вечеру непременно успеть. С нами был кто-то из старших ребят, кто не однажды там бывал.

Пока шли полями на виду Чижапки, были веселы, шутили, держались плотно. Но когда после третьей корчёвки зашли в лес где сразу стало сумрачно и сыро, и дорога сузилась до ширины телеги, ибо по сторонам высились гигантские лесины, в основном, кедры, ели и лиственницы, группа стала растягиваться.

Кто шишку подберет, кто бурундука увидит и погонится за ним, кто рябины сорвет горсть, то лужи обходить надо. В общем, к середине пути мы шли не все вместе, а отдельными группками. Нас было человека четыре и мы как-то непроизвольно стали громко переговариваться друг с другом, чтобы показать кому-то, что мы не одни, что нас много, что мы не боимся.

После, уже в Томске, учась в старших классах и проходя Горького и его «Данко», я очень даже ясно представлял тот страшный лес, через который Данко выводил людей, это была Васюганская тайга тех лет.

Когда мы подходили к гати, где ещё совсем недавно, в середине лета, убили секретаря парторганизации кол-

хоза, молодого, прошедшего войну и не имевшего ни одного ранения, мы притихли и стали тревожно осматриваться по сторонам.

Вот эта гать. Где-то здесь два брата, которым он «перешёл» дорогу, подкараулили его и веслом сзади ударили по голове. Столкнули в трясины, думали, что он утонет в ней, а он чем-то зацепился за лежнёвку.

Лес был высок, грозен и неприветлив.

Животный страх обуял всеми нами, и мы, даже не сговариваясь, враз побежали. Побежали, не разбирая ни вывороченных корневищ, ни упавших стволов, ни того, что в любом гиблом месте можно оступиться и угодить в прорву. Нам казалось, что кто-то и сам лес во главе бегут за нами и вот-вот нас настигнут. Наши сердца трепещут вовсю. Мы стараемся не терять из виду бегущего впереди. Невидимая сила подняла нас и понесла как на крыльях...

Но вот лес стал светлеть, редеть, блеснуло солнце, запахло близостью реки. Пошли луга, озёра, запели птицы. Васюган. На той стороне Успенка. Спасены. Мы переходим на шаг, доходим до Васюгана и садимся передохнуть. Ребята, пришедшие раньше нас, с той стороны гонят лодку. Мы забываем о страхе, шутим и смеемся.

Здравствуй, Коля!

Ты один, и я на сегодня один. Потому и пишу. Супруга улетела к детям на неделю, и у меня выдалось свободное время. А вот приехать я всё равно пока не смогу. Она в субботу улетела и в следующую субботу должна прилететь. Надо встречать. А то бы уже примчался. Откликаюсь на твою просьбу, пишу, что помню о детском доме. А помню я со временем всё меньше.

О Пономарёвых («без руля и без ветрил») я тебе писал. Он преподавал историю, а жена его... дай бог памяти, кажется, ботанику и зоологию. Оба были типично русскими людьми. Он – высокий мощный мужчина, она симпатичная, невысокого роста, с косами, уложенными на голове короной (тогда было модно), с приятным, грудным голосом. Пономарёв считал себя одним из первых покорителей тех мест. Любил рассказывать, как они прививали культуру аборигенам (остякам и тунгусам). В том числе как анекдот: «Решили научить остяков выращивать картофель. Раздали каждой семье по мешку семенной картошки. На другой день остяк приходит к русскому (якобы Пономарёву) и докладывает: «Товарищ начальник, куль сажил, куль копал, ни один картошка не пропал».

Видать, он очень любил свой предмет. Бывало, кто чуть спутается в ответе, он тут же подхватит, да сам и закончит, только поддакивай ему в знак согласия.

Когда он рассказывал о каких-нибудь грозных событиях или войне, всегда заканчивал так: «И остались они без руля и без ветрил». Этим особенно и запомнился.

А ты помнишь, Коля, какая тогда была Елена Ефимовна, жена нашего директора Виктора Александровича, – молодая, красивая, статная вся, настоящая украинка. У ней были густые длинные волосы, и заплетала она их, как и жена Пономарёва, в две толстые косы, которые укладывала на голове одну на другую так, что получалась шикарная корона. И в этой короне она была как настоящая царица.

Мне кажется, что они в чем-то даже соперничали одна с другой. Елена Ефимовна тоже работала в школе. Преподавала в младших классах, правда, нас, детдомовцев, она не учила, вероятно, из соображения того, что её муж – наш директор, или почему-то другому, не знаю. Ещё, когда её что-то волновало или расстраивало, она говорила: «Ну вот, опять история с географией». Помнишь?

О Мии. Помню, что был он мешковатым увальнем, с хитрыми, но в то же время смеющимися остяцкими глазами, с медвежьей походкой и с медвежьей же силой. Его отличало то, что он в любой драке никогда не стонал и тем более не плакал, а только сопел. Это чуть было его не погубило в той драке, о которой я тебе как-то рассказывал.

Я уже не помню ни причины, ни повода. Помню, что враждовали корпусами. Дело было в начале осени, или

просто осенью, потому что мы уже закидали завалинки на зиму и в тот день получили зимнюю форму. Это был банный день.

Надо сказать, что к этой драке мы готовились по всем правилам военного искусства. Высылали парламентёров для переговоров между сторонами, вооружались. Я себе выстругал из корневища берёзки булаву, как у Ильи Муромца, и приготовил щит (крышку от оцинкованного бачка). Ещё помню, что на вооружении у одного из наших была половинка «бомбы». Это бомба на уроках физики использовалась для проведения опыта. Она была чугунная, шарообразной формы, полая внутри, и было у ней горлышко с резьбой. Внутрь заливалась вода, завинчивалось горлышко пробкой, и бомба выносилась на мороз. В результате бомба раскалывалась пополам. Вот такую одну половинку наш боец спёр и использовал её в драке.

Мы жили в малом корпусе (бывшем «малышовском»). Все были готовы и морально, и физически к этой драке. Но враг оказался тактически умнее нас.

Когда мы возвращались из бани – благодушные, с полученной зимней формой, естественно, не вооружённые, на нас с чердака стали сыпаться «воины» противника. Завязалась «сеча». Я своим оружием не успел воспользоваться: меня отрубили сразу, но кое-кто успел-таки добраться до своих тумбочек, кроватей и вооружиться, в том числе и наш бомбист.

Бой вёлся в темноте и тесноте, потом вылился на улицу и прекратился только тогда, когда прибежали «воспетки» (воспитательницы, пусть уж меня простят).

Нас, как обычно в таких случаях, построили в линейки в своих корпусах, стали выявлять зачинщиков, да разве выявишь?

Тут прибегают из большого корпуса и говорят: «Мии нет!» Все бросились искать. Искали, искали, не нашли, нигде ни оха, ни вздоха. Только утром кто-то обнаружил его за корпусом в канаве от завалинки с проломленным черепом. А этот, с бомбой, потом хвалился, что именно ей он и огрел Мию по голове.

Что стало с Мией, я даже не знаю, я уехал, он ещё оставался.

Ну, а что касается Успенки, тут можно много писать, ведь основные приключения происходили там или по пути туда.

Но ты, Коля, просишь рассказать о конкретном случае, тогда читай.

Я уже не помню фамилию семьи, что жила на Успенке, хотя ещё недавно помнил. Звучная русская фамилия. В то лето вернулся к ним из армии сын Андрей. Красивый, крепкий такой парень. Рассказывал нам байки про армию. Всем он нравился. Хотя мы легонько и шкодили у них в хозяйстве, но он относился к нам, пацанам, по-приятельски.

Не буду врать, за что я ему приглянулся, но на вечернюю охоту на уток он выбрал именно меня. Я не сомневался, что постреляю из ружья и, возможно, даже убью утку. Но мне пришлось исполнять роль собаки. Он подстреливал уток, а я плавал за ними.

Ты, наверное, помнишь эти озёра? Вокруг острая осока и вязкие торфяные берега. Разденусь, комары тучами налетают, а еще мошкара, поневоле скорей ныряешь в воду. Потом с грязными ногами лезешь в штаны. Да все бы ничего, но однажды подплываю, безбоязненно хватаю утку, а оказалось – это не утка, а ондатра, да еще живая. Я – обратно. А Андрей кричит с берега, чтобы я и ее тащил. Я кричу, что она живая, и я ее боюсь. Тогда он снова выстрелил в нее, так что дробь рядом со мной просвистела. Дал он мне выстрелить только тогда, когда на нас стал нападать филин. Прямо атакывал нас. Я стрелял, чтобы отпугнуть его.

Ну все. Будь здоров, Коля. При встрече что-нибудь еще вспомним.

Альберт.

Одно время в нашей группе воспитателем был довольно молодой человек из бывших военных.

К нам он приходил всегда в светлой рубашке, кителе, галифе и хромовых сапогах, начищенных до блеска. Причёска была «полька» или «полубокс». Походка прямая. Нас он не воспитывал, а как бы играл с нами, ещё маленькими.

После обеда у нас полагался «мёртвый час». В тот день погода стояла изумительная. Теплынь невероятная. Спать не хотелось. Хотелось на речку, поближе к воде. Но... Дисциплина, расписание.

– Ладно, – согласится он на наши уговоры, – вот если отгадаете загадку, одну всего, тогда идем купаться, а не отгадаете, всем спать.

– Давайте. Согласны, – дружно ответили мы.

– Ну вот, – начал он и обвел палату загадочным взглядом, – под койкой валяется, на «пэ» и «тэ» называется.

– Пила и топор, – нетерпеливо выкрикнул кто-то.

– Нет, зачем они там?

– Пуля.

– Патроны.

– Пимы.

Стали мы выкрикивать наперебой.

– А тогда «тэ» – что?

– Таз.

– Танк.

– Ну уж, – улыбнулся он. – Не знаете.
– Тогда отгадайте вторую, совсем лёгкую:
– На стене висит и блестит.
– Зеркало.
– Сабля.
– Картина.
– Э-э-э, нет, нет, – сказал он и повернулся к двери.
– Скажите. Скажите, – стали мы просить.
– Ладно, но чтобы отдохнуть.
– Селёдка.
– ? ? ? ?
– Вот это да! А как она там оказалась? – спросил самый находчивый.

– Моя селедка, куда хочу, туда и повешу.
– Тогда почему блестит?
– А я и сам не знаю, – ответил он.
– Тогда про «пэ» и «тэ» ?
– Про «пэ» и «тэ» ?
– Хорошо, так и быть.
– «Пэ» – это патинок.
– А «тэ», – он выдержал паузу: – Тругой патинок, – и засмеялся.

Засмеялись и мы вместе с ним.

– Отдыхайте.

После его ухода мы, как нас учили, повернулись на правый бочок, ладошки под щёку и погрузились в свои сны.

После «мёртвого часа», или в какой другой день мы всей группой пошли на Васюганский ручей, на его устье, порыбачить, картошку попечь и просто так – совершить прогулку. Первым делом рыбаки размотали удочки, свободные стали собирать дрова. Ручей обмелел и на нем клевало плохо – одни малявки. И рыбаки пошли рыбачить на сам Васюган.

Когда испекли картошку и рыбку, какую удалось поймать, поели и как бы стало нечего делать и не о чем говорить, он сказал:

– Давайте, я сейчас перебегу через ручей и не замочу сапог.

Он посмотрел на свои хромачи.

– Не верите?

– Кто-нибудь перейдите-ка на ту сторону.

Он прошел немного вдоль ручья, выбирая место.

А глубина была, если нам, то выше щиколотки уж точно, а посередине почти до колен.

Мы встали у берега, чтобы лучше видеть.

Вот несколько быстрых шагов: раз, два, три, четыре – и он на той стороне.

Там посмотрели и крикнули: «Сухие».

Перебежал обратно к нам. И снова никаких следов, что только что бежал по воде.

Невероятно.

Стали бегать и мы, шлепая по воде своими ботинками, но, увы, у всех они промочились с первых же прыжков.

– Эдак не получится, – сказал он, – надо всей ступней ставить ногу на воду так, чтобы вода разошлась, и прежде, чем она сомкнется, успеть коснуться дна, оттолкнуться от него и выскочить из воды. Так попеременно одной ногой, потом другой.

Мы опять стали бегать через ручей, стараясь использовать полученные знания, и снова ни у кого не получалось, только смех, крик, шум. Он ещё раз перебежал ручей туда и обратно, и сапоги были совершенно сухие.

Мы были в восхищении.

Но был он у нас всего одно лето и одну зиму. Потом уехал. Жаль. Мы с ним подружились.

Наш воспитатель был человеком спортивным и нас приучал к спорту. В конце зимы, когда солнце стало пригревать и все выше и выше подниматься над Чижапкой, он сказал, что будем сдавать кросс на значок БГТО.

Вечером он с одним мальчиком наметил лыжню. Утром нам выдали лыжи и лыжные палочки. Крепления были мягкие, для валенок.

Мы спустились, а кто и скатился с обрыва за старшим корпусом на пойму. Надо было сделать круг: добежать до Васюгана, вдоль него до ручья, и от него вернуться на старт.

Сначала мы побежали дружно и с азартом, всей толпой, даже помогая себе палочками. Но с ними мы никогда не бегали и не катались, и вскоре они нам стали только мешать, и мы их оставляли вдоль лыжни, переходя на привычный нам стиль: недлинный шаг, но размах рук до предела – от плеча и до плеча.

Потихоньку, помаленьку прошли все.

Распаренные и раскрасневшиеся, поднялись и зашли в корпус, составили лыжи, и каждому из нас был вручен значок.

Он выглядел так: сверху знамя, на нем буквы БГТО. Чуть ниже, вокруг значка, зубцы, как от шестерни. В центре значка бегущий мальчик пересекает финишную ленточку.

Этим значком мы очень гордились – первая награда. А потом привыкли, а потом и терять стали. И всё же в наше время каждый мальчик хотел сдать спортивные нормы на значок БГТО – Будь Готов к Труд и Обороне, и носить этот значок, где ему и положено было быть, – на груди.

Здравствуй, Коля.

Наконец удосужился написать тебе по твоей просьбе. Для сохранения эпистолярного жанра сначала надо бы спросить: как твои дела? (Но ты ответишь только по телефону).

О себе. Вчера у нас с супругой исполнилась тридцать седьмая годовщина нашей совместной жизни. На старый Новый год мы навещали наших старых друзей Зайцевых, Ирину и Владимира Ильича. В разговоре вспомнили и о тебе. Они тебя помнят.

А вот о новогодних подарках в детском доме я помню плохо. Даже орехи не помню. Мне только запомнился тот год, когда я часть подарка спрятал под крыльцо большого корпуса с тыльной стороны (со стороны обрыва). Помню, что положил туда конфеты «Счастливое детство» и пряники. Конфеты мои после какого-то времени растворились, а с пряников облезла глазурь. Может быть, это был тот Новый год, который был самым счастливым, самым ярким в буквальном смысле, потому что к нему приурочили пуск местной «электростанции», и дали электрический свет.

Как мы все ждали этого события, помогали как могли. Помню, что устанавливали столбы, что-то ещё делали. И вот, наконец, соединились два праздника в одном. Это для нас было чудо, в полночь везде светло.

Лампочки горели и на столбах, и даже гирлянды лампочек на нашей елке горели.

Помню, что электрик, по-моему, Лёша, был самым популярным парнем в тот Новый год как в детдоме, так и во всей Усть-Чижапке. А запомнил я его ещё и потому, что ревновал его к одной нашей девчонке. Да-да. Не улыбайся. Ты же помнишь, что в целом в детдоме господствовала неприязнь к противоположному полу. Мы девчонок иначе, как бабы, и не называли, и обзывали всяко, и били при каждом удобном случае. Они нам отвечали взаимностью, адекватно, как сейчас говорят. Но природа, видимо, брала своё, и каждый наверняка имел свою симпатию, но скрывал это.

Так, мне проходу не давала Пичугина, а я тайно «любил» Валу Луценко. Как сейчас помню её серо-голубые открытые глаза, всегда румяные щёки, яркие, сочные губы и всю её украинскую статью, то есть в меру стройную и в меру пухленькую. Но она, видимо, была старше меня. Уже тогда она выглядела девушкой. И мне казалось, что все её любили так же, как и я. Я не помню, чтобы кто-то её обзывал, а тем более бил. Так вот, в тот Новый год все мы резвились, играли в игры, танцевали.

Накануне нас научили танцевать экзотические даже для города танцы: падеспань, падеграс, ну и полечку, и краковяк. Все мы танцуем организованно, а этот Лёша выпил хорошо и лезет ко всем девчонкам обниматься да целоваться, особенно к Вале Луценко. Прямо убил бы его тогда.

Помню, как местные эдисоны демонстрировали нам, тёмным, свои познания в электричестве. Забивали

гвоздь в полено или палку и совали в патрон, патрон искрил и трещал, и в итоге гас свет. Потом электрик Лёха бегал по объектам и искал, где произошло замыкание.

Начал писать 21.01.04, а сегодня 26.01.04.

За это время получил ещё одно письмо с дополнительными вопросами. Сколько ведер бражки настаивалось в бочке, сказать не могу, ведь в детстве все кажется огромным. Я помню деревянную бочку с деревянной же пробкой на амбарном замке. Бочка эта стационарно стояла на русской печке в детдомовской столовой. Была ещё и большая плита для приготовления пищи. Повариху нашу звали тётя Настя. А замок на пробку повесили, чтобы дежурные по кухне не черпали бражку. Когда бражка настаивалась, её цедили, переливали в другие ёмкости и отвозили на место праздника, в школу или сельсовет.

Помню я и о Толе Романенко, и о Соломоне, и о револьвере, многое помню, а вот о каких самолётиках спрашиваешь, я не знаю. Помню, как мы устраивали на Чвору абордажные бои на чужих обласках и лодках. Тебе бы надо написать, как мы дрались с интернатовскими, как искали сбежавших из детдома или потерявшихся в урмане. Для этого в детдоме была установлена сирена, которую слышно было аж в Берёзовке.

Пиши всё.

Ну, будь здоров. Лимит письма закончился.

Жму руку.

Альберт.

Здравствуй, Коля.

Получил твоё письмо на третий день по приезде из Белокурихи. Спасибо.

Хотел в санатории всем написать письма, в том числе и тебе. Думал, там нечего будет делать, буду писать да читать книги. Но не написал ни одного письма, а книг прочитал всего две. Во-первых, времени мало оставалось от процедур и прочих занятий, а, во-вторых, не было надлежащих условий. В номере стоял журнальный столик по высоте на уровне кровати и – ни одного стула.

Короче, отдохнул неплохо. Было бы денег побольше, отдохнул бы ещё лучше.

Теперь отвечаю на твоё письмо по поводу воспоминаний о детском доме.

Давай, пиши всё, что сочтёшь нужным.

И, если ты выпустишь книжку, я буду очень рад. Может, она кому из наших попадёт. Прочитает.

Конечно, если бы ты был рядом, мы бы многое вспомнили, что-то вспомнит один, другой подхватит, разовьёт, ведь воспоминания приходят в соответствующих условиях, когда голова ничем не занята, перед сном, или когда делаешь какую-то монотонную работу, или когда едешь далеко на машине, хоть за рулём, хоть пассажиром.

А сейчас я пишу на работе, выбираю минутки, но то и дело кто-нибудь заходит, звонят телефоны. Так. О праздновании Нового года я тебе уже писал, о «спичеч-

ной фабрике» ты лучше меня помнишь, об учителе Пономарёве («без руля и без ветрил») написал, об Успенке – тоже, да, и о коне Марше.

Кстати, в Белокурихе была такая услуга: сфотографироваться с медвежонком за сто рублей. Так я каждый раз, проходя мимо, останавливался возле него, любовался им и вспоминал нашу детдомовскую Машку.

А вот о моём приезде в Томск многое помню. Начну с того, что по окончании учебного года всем, кто перешёл в следующий класс, выдали по шоколадке, а нам, отъезжающим, – по две. Это – впервые за все годы жизни в детдоме. При всём при этом я не стал их есть, а решил привезти гостинец домой. Кроме этого, нам дали ещё по несколько банок сгущёнки (тоже впервые). И всё. Больше из продуктов ничего не запомнил. А плыть предстояло суток семь.

Провожали меня до слёз трогательно. Друзья подарили мне своё самое дорогое, в том числе цепочки, свитые из медной проволоки, манки на бурундуков, сделанные из патронов (гильз), и даже складник, который складывался как-то оригинально, что в руках он уже произвольно не складывался. И денег насобирали целую баночку... от сапожного крема. Плюс к тому поотдавали мне и ненужное: зубные щётки и порошок, нам их выдавали, но зубы редко кто чистил. Всё это богатство я сложил в выданную мне наволочку.

Особая история – как меня одевали. Почему-то мне предложили выбор: в летнее одеваться или в зимнее, а на дворе июль, жарница. Друзья убедили меня получить зимнее, дескать, оно дороже, а каково мне придётся дома – неизвестно. Практичные. Вот и оделся я во всё зимнее: в зимнее пальто, в зимнюю шапку, зимнее нижнее бельё. Всё это старое, ношеное. В шапке вся вата сбилась в концы ушей, и они болтались, как грузила. Пальто в таком же состоянии, серое и не суконное, а, как моя бабушка говорила – бумазейковое. Только ботинки я получил новые и на два-три размера больше (на вырост). Они потом загнулись, как лыжи.

Кроме того, друзья дали мне, один – свою нижнюю рубаху, а другой – свою «фасонную», ему её из дома прислали, она была с кармашками.

Почему-то мы боялись, что нас перед посадкой на пароход будут обыскивать, и мне пришлось эти рубахи надеть на себя.

Пароход, как ты знаешь, причаливал у Берёзовки, и мы шли туда километра четыре пешком. Представляешь моё состояние? Толпа друзей следовала за нами. Все шутили, смеялись. Было весело. Подплыл пароход «Козьма Минин». Никто нас не обыскивал. Пока мы видели друг друга, все махали руками. Как только причал исчез из виду, на меня нахлынула такая грусть, такая тоска, что слёзы невольно потекли из глаз. Только теперь я подумал: «Куда я еду? Что меня ждёт? И кто такие тётя Зина и тётя Муся?»

А надо тебе, Коля, напомнить, что к тому времени мы уже переписывались, и ты в одном из писем рассказывал и даже схематично нарисовал, где ты живёшь. Видимо, предполагал, что я приеду и буду тебя искать. Помню, что ты рисовал водоразборную колонку, клуб завода «Фрезер», Лагерный сад.

На пароходе расположились мы на жёстких деревянных полках. Никакой постели. Под голову я использовал свою наволочку-сумку. Ты помнишь, что в ней лежало?

На пароходе работал буфет. Помню, что там продавали пончики, наверное, и хлеб продавали, потому что, сколько я помню, всю дорогу мы ели только хлеб, сгущённое молоко и запивали кипятком из титана. И уж насколько я мечтал о сгущённом молоке, а за эти дни оно мне просто опротивело.

Со мной плыли ещё братья Руфановы до Каргаска и Ноговицина до Томска. Я с ними мало общался (наверно, прятал слёзы). А сопровождала нас Евгения Михайловна Ришаева – наша «воспетка» по кличке Клюка, жена Лысого Пантиста.

Когда в Каргаске мы пошли провожать Руфановых до дома, меня поразила их встреча с матерью. Они оба в толстых очках. Их мать и напустилась на Евгеньюшку, дескать, я вам отдавала здоровых сыновей, а вы мне привезли их слепыми. Не нужны они мне. Забирайте их обратно. И в таком духе.

После этого я ещё больше загрустил: «А что, если и меня так же встретят?»

А ты знаешь, Коля, когда мы вышли от Руфановых, наша Евгения Михайловна заплакала. Я никогда и предположить не мог, что эту железную Клюку можно чем-то так разволновать.

Тоску мою опять же развеивал медвежонок, находящийся на пароходе. Я часами с ним забавлялся, играл. Потом я подружился с пацаном, моим ровесником. Он вёз свою больную мать. Сама его мать постоянно лежала на полке, а он был за хозяина. Все семейные деньги хранились у него зашитыми в пояс. Он только мне доверился. Мы вместе проводили время. Мы заходили в туалет, он снимал с себя пояс, доставал нужную сумму, чтобы купить в буфете продукты и накормить мать и себя.

Я тоже поначалу покупал на свои – из баночки, но они скоро кончились, и он продолжал подкармливать и меня.

В Томске нас встретил Володя К. Видимо, была договорённость. Ноговицину мы «сдали» быстро, а вот со мной были проблемы. Дело в том, что вызывала меня тётя Зина, и в письмах она писала свой адрес так: город Томск, завод «Манометр». Она там работала. А день нашего приезда, должно быть, был выходным днём. Володя нас водил по городу, наверно, ходили и на завод. Помню, что потом пришли на главпочтамт. Они зашли в помещение, куда-то звонить, а я остался на улице и

уселся под стендом с газетами. Люди подходят, читают, а я сижу – весь из себя в зимнем: в пальто, в шапке с заячьими ушами, жую булочку с карамельками «Кизил», а на улице асфальт плавится. Двум молодым девицам, должно быть, студенткам, я чем-то приглянулся, потому что одна из них, которая ела мороженое, воскликнула: «Ой, смотри, какой хорошенький цыганёнок! Спляши, я тебе на мороженое дам».

А я на её восклицание ответил таким забористым матом, что она и своё мороженое уронила.

Потом мы ночевали у Володи в его общежитии на улице Семашко.

Ладно, Коля, заканчиваю. Я же говорю, что это рассказывать надо.

А писать необходимо и время, и условия.

Ну, будь здоров. Может, летом сподобишься в гости.

Альберт.

Летом почту в Чижапку привозили на катере, а зимой на лошадях. Катер был дощатым, крохотным, почти игрушечным. Над его кабиной возвышалась небольшая деревянная матча с огоньком наверху. А спереди, прямо у кабины, была труба. Когда внутри катерка что-то заводили, из этой трубы начинали вылетать аккуратные голубоватые кольца, похожие на калачики. Эти калачики по мере подъёма тихонько таяли и нам было интересно за ними наблюдать.

Через много лет точно такой же катерок я увидел в городе Вологде. Помните изумительные «Вечерние стихи» Николая Михайловича Рубцова, тоже воспитанника детского дома, только села Никольское, что в Вологодской области:

*Когда в окно осенний ветер свищет
И вносит в жизнь смятенье и тоску,
Не усидеть мне в собственном жилище,
Где в час такой меня никто не ищет.
Я уплыву за Вологду-реку.
Перевезёт меня дощатый катер...*

И далее.

В том году у меня в Москве вышла первая небольшая книжка стихов. Я приехал, но не вовремя, в издательстве как раз были выходные дни, и я решил побывать в Вологде, поклониться могилке Рубцова. Поклонился. И Вологда подарила мне возможность ещё раз увидеть ка-

терок, может быть, тот самый, с нашего Васюгана, который совсем недавно перевозил автора чудесных стихов через речку Вологду в ресторанчик «поплавок».

Мне вспомнились Усть-Чижапка, детский дом, обитатели детского дома, воспитатели, учителя, деревенские улочки, мостик, проточки и дощатый катерок с калачиками над трубой, привозивший нам почту. В волнении зашёл я на «поплавок», к тому времени ставший столовой. Зашёл просто так, посмотреть, и если что, перекусить на дорожку. На этой стороне речки были мостки, с них женщины полоскали бельё. На той – возвышалась гора песка, с которой ребятишки скатывались и плюхались в воду.

Всё было как при нём, Николае Михайловиче Рубцове.

В четвёртом классе, весной, когда снега стало не так много, мы пошли на третью корчёвку, восстановить развалившиеся за зиму поленницы дров, приготовленных для пароходов, ходивших по Васюгану.

У самого леса к дороге примыкало поле льна. Летом оно было на удивление нарядным со множеством небольших голубых цветочков, как будто это поле не девало свой праздничный платок или передничек. В середине лета на них появлялись круглые коробочки, бледно-зелёные с белесыми семенами внутри, они были невкусными. Зато к осени коробочки желтели, а семена принимали свой коричневатый цвет и приятный маслянистый вкус. И мы, когда ходили на третью корчёвку пособирать шишек, срывали их и ели.

На третьей корчёвке мы шишки не били, а именно собирали, ибо кедры там стояли такие, что залезть на них было невозможно – нижние ветки начинались так высоко, что и самым ловким ребятам было не под силу туда добраться. А сами стволы были такие, что мы втроем, а то и вчетвером не могли их обхватить.

Когда дошли до этого поля, немного задержались. Мы переворачивали лён, из-под которого разбегалось несметное множество мышей-полёвок, зимовавших под ним, и сами с удовольствием ели семена прямо с коробочками.

На корчѣвке нам дали задание: собрать на «столько-то» человек «столько-то» полениц, и мы старались сделать это побыстрее, чтобы ещё походить по лесу, пособирать серу – смолу лиственниц, с них она получалась особенно красивой и приятной на вкус, посмотреть следы зверушек и птиц. Следов было полно, всяких, особенно на опушке, и мы, перебивая друг друга, пробовали их отгадать.

На обратный путь наломали по охалке берѣзовых веток и дома, в классной комнате и спальне, от них отщипывали смолянистые, уже набухшие почки для больницы.

Настал день отъезда. После завтрака зашли в корпус, взяли свои узелки и пошли к конторе. Там, на складе, искали моё пальто и шапку, не нашли, дали вещи другого мальчика, довольно поношенные, а я-то свои берѣг, знал, что поеду.

Отъезжающих было трое: воспитательница наших девочек, уезжающая в отпуск и сопровождающая нас, одного мальчика, которого потом сдали в Каргаске, да вот ещё я.

Подошла подвода. На телегу положили свой скарб и пошли. Ребята проводили нас до конца Усть-Чижалки. И сердце сжалось как никогда: что там впереди? Так ли всё сложится, как мечталось?

Небо с утра было чистым и ясным и, казалось, таким будет весь день. Но, подъезжая к Берѣзовке, соседней

деревне, где находилась пристань, оно как-то враз затянулось сплошной, серой, невыразительной не то тучей, не то пеленой, и закрапал мелкий дождик, усиливая грусть. Ни здания речного вокзала, ни просто какого-нибудь сарая тогда ещё не было, и пришлось вместе с другими ожидающими немного помокнуть. Подошёл «Чехов», небольшой пароход, плавающий по Васюгану.

Пароход запаздывал. Нас поторапливали. Как только мы погрузились, он тотчас отплыл.

Возле Васюганского ручья я вышел на прогулочную палубу посмотреть, может, кто пришёл помахать на прощание. Никого не было. Такая погода – кто придёт? В Каргаске было то же самое. Надо было идти в сторону аэропорта (аэродрома – как тогда называли). На окраине Каргаска, в болоте, стояло несколько низеньких избушек, к ним вела узкая дорожка, выложенная чурочками, верней, эти чурочки были торцами или вдавлены, или вбиты в болото. Иногда то справа, то слева чурочек не хватало, и в этих местах тяжело свинцевела вода. Надо было внимательно смотреть под ноги, чтобы не оступиться.

Воспитательница шла первой, за ней мальчик, за мальчиком я. Состояние было – не передать. Воспитательница почти сразу угадала, куда надо зайти.

Крохотная пристройка, ещё одна дверь в комнату, несколько ступенек вниз. Комната небольшая. Потолок низкий. Под потолком лампочка с розовым абажуром. Посреди комнаты стол. За столом несколько человек – мужчин и женщин. Возможно, они ужинали или сидели компанией. Было сыро, накурено и душно.

Воспитательница поздоровалась, взяла мальчика за плечо и подтолкнула вперёд: вот ваш сын.

Я притих у неё за спиной, боясь даже вздохнуть, чтобы не выдать себя. И почти тотчас мы вышли.

На улице стояли густые сумерки. Шёл дождь. Небо как будто оплакивало нас: того мальчика и меня.

Как и на каком пароходе мы плыли до Томска, я не запомнил.

К Томску подплывали в темноте.

– Томск!

– Подплываем!

– Томск! Томск!

Я посмотрел в иллюминатор.

В это самое время страшной силы гром ударил откуда-то сверху и небывало яркая молния осветила чудовищные столбы, стоящие на обрыве крутого берега и упирающиеся в небо (потом я узнал, что это элеватор «Томских мельниц»).

Удары следовали один за другим. Молнии то и дело разрывали темноту, выхватывая из неё то какие-то строения, то деревья, ослепляли, и потом опять все погружалось в тяжёлую неизвестность.

Мы сошли с парохода и забежали в здание речного вокзала под проливным дождём. Где-то на лавочке с узелком под головой я уснул.

Рано утром воспитательница меня разбудила. Мы вышли на улицу. Боже мой! Как чудесно начинался день. Небо было чистое и ясное, ни облачка. Пели пти-

цы. На тополях листва была недвижимой, удивительно нежно-зелёного цвета. Асфальт был мокрым, чистым, сияющим. Мы прошли небольшой скверик и вышли на улицу. Воспитательница уверенно свернула направо и пошла серединой. Я поспевал за ней, оглядываясь по сторонам. Всё занимало моё внимание. Всё вызывало восхищение.

«Вот, – думал я, – сейчас распахнётся это окно (самое-самое), в нём покажутся мама и сестрёнки и скажут: «Здравствуй, Коля, мы тебя так долго ждали». И всем будет хорошо, и все будут счастливы».

Но мы проходили этот дом, потом другой, потом ещё и ещё. К окраине дома стали поскромней, а то и вовсе неказистые. «Ничего, – подбадривал я себя, – и в таких можно жить». Потом шли вверх по трамвайной линии, которую я принял за железную дорогу.

Вот дошли до улицы Учебной. Стали искать дом за номером 31. Еле нашли, ибо это было женское общежитие завода «Фрезер», или ТИЗа, или завода режущих инструментов – длинное двухэтажное здание, отштукатуренное и побеленное снаружи, 31-й корпус.

Моё сердце упало. Но всё-таки это было не то, что я видел в Каргаске.

После я узнал, что когда-то здесь размещалась конюшня Томского артиллерийского училища (пушки перевозились конной тягой до войны, во время войны и какое-то время после войны).

Надстроили второй этаж, из каждого стойла сделали комнаты, и получилось общежитие для одиноких ра-

ботниц завода. Завод «Фрезер» был вывезен во время войны из Москвы в Томск.

Зашли в длинный узкий коридор. Нашли нужную комнату. Постучали. Нам крикнули: «Войдите!» Мы вошли.

Квадратная комната с небольшим окном. Вдоль стен кровати. Возле окна стол. На окне цветы. Я стоял сзади воспитательницы, около двери, надеясь, что, может быть, мы ошиблись, и нам надо в другое место.

Воспитательница спросила женщину: вы «такая-то» и «такая-то»?

Женщина ответила: «Да!»

– Я вам привезла вашего сына, – воспитательница оглянулась на меня и посторонилась.

Я заплакал.

Женщина начала вставать.

На другой кровати, справа у стены, две девочки с любопытством выглядывали из-под одеяла.

Другие две кровати, слева, были заправлены, они принадлежали другим жильцам.

Плакал я и от обиды, и от жалости, и от разочарования, что не осуществилось то, о чём я так мечтал в далёкой теперь Усть-Чижапке, что моя мама обыкновенная, что буду жить в этой тесной и крохотной комнатухе, а не в прекрасном и просторном доме, и... просто так.

Воспитательница сказала, что она ещё зайдёт, и ушла. Правда, на следующий день она зашла, но только на минутку, взглянуть.

В школе я учился неплохо, был ударником, то есть четвёрочником. Особо давался русский язык, легко запоминал стихи, отрывки прозы, любил писать изложения и диктанты.

Обычные оценки по ним были от 1/0 или 0/1 до 2/3 или 3/2, и общая оценка ставилась от 5- до 4-.

Учителя наши были замечательными людьми и прекрасными преподавателями. После окончания четвёртого класса и сдачи первых в жизни экзаменов меня увезли в Томск к маме в сопровождении воспитательницы, которая уезжала в отпуск в Красноярск.

Мама в своё время, ещё при царе, окончила два класса церковно-приходской школы, но довольно спокойно решала задачи даже за седьмой класс средней школы 50-х годов 20-го столетия, особо когда речь шла о двух бассейнах, двух поездах или двух землекопах. Много читала.

После работы (она работала уборщицей в женском общежитии, что при заводе ТИЗ – Томский инструментальный завод) часто сидела с книгой.

А я привёз с собой из детского дома такие слова, как:

Пшли	–	пошли,
гли	–	гляди,
гри	–	говори,
кунды	–	куда,
тунды	–	туда,

гачи - штанины,
ребя - ребята.

И многие другие, которые моих сестёр смешили.

А сколько забыл.

Забыл и прозвища ребят, а ведь у каждого они были, были прозвища и у воспитателей и учителей.

Осталось доброе, светлое, благодарное воспоминание. Когда я произносил свои детдомовские словечки, мама меня всегда поправляла:

– Вот ты и в школе будешь писать так, как говоришь.

И хотя в моём табеле за четвёртый класс были четвёрки и пятёрки, после записи меня в пятый класс 8-й мужской средней школы (тогда обучение было раздельное), мама договорилась, чтобы я походил на занятия вместе с теми, кто остался «на осень».

Когда пришла эта пора, то я ходил всего на два занятия, а на третьем учительница сказала:

– Мальчик, тебе приходится больше не надо.

Это я говорю не в похвалу себе самому, а как знак благодарности учителям Усть-Чижапской семилетней школы и воспитателям Усть-Чижапского детского дома.

Оставшиеся до школы дни проводил вместе с ребятами из соседнего двора, с которыми немного подружился, на реке Томи, под берегом Лагерного сада, где мы купались, загорали, ловили пескарей и гальянчиков.

Как жаль, что давно нет в Усть-Чижапке ни здания школы-красавицы, ни корпусов детского дома, ни колхоза, ни сельского совета, ни почты, ни пекарни... и людей там осталось совсем ничего, а которые и есть – всё больше приезжие. Вот так по воле кого-то, находящегося в его прекрасном далеке, решила судьба множества людей и целого селения. А поля, созданные невероятным трудом, в основном женскими руками, зарастают или уже заросли травой и лесом. Но кто знает, может, опять будут там и первая, и вторая, и третья корчёвки, где будут колоситься и рожь, и ячмень, и овёс, расти горох и голубеть лён.

Всё повторимо.

В общежитии на первом этаже в конце коридора справа была кухня, разделенная легкой перегородкой, за которой стоял стол для глажения белья. На кухне, почти на ее середине, размещалась плита невероятных размеров (таких плит я больше нигде не встречал, за исключением разве что армии, когда приходилось бывать в нарядах на кухне). Топили плиту углем, а разжигали дровами.

Рядом с плитой, сбоку, у стены стояла раковина, была подведена вода, холодная, но стока под раковиной не было, под ней стояли большие ведра и по мере их наполнения они менялись и выносились.

Во время дежурства моей мамы мне приходилось основательно эту плиту вычищать от накопившейся

золы, потому что она набивалась возле трубы, и плита плохо горела и начинала дымить.

В нее я залезал почти что с ногами, несмотря на то, что в руках моих была еще и длинная кочерга.

Золу и ведра из-под раковины я старался выносить в такое время, чтобы не столкнуться с ребятами, а тем более девчонками, идущими в клуб на киносеанс.

Я выглядывал из входных дверей и смотрел, не идет ли кто, и скорей-скорей проносил ведра через оградку к отведенному месту. А оттуда, уже с пустыми, бегом-бегом.

Стыдился.

Был конец мая.

В школе закончились экзамены, выданы табеля успеваемости с отметкой о переводе в следующий класс.

Погода стояла теплая, солнечная. В радостном настроении забежал я домой в 31-й корпус в нашу 14-ю комнату положить табель и пойти к ребятам в ограду через дорогу.

В комнате никого не было. Я подошел к окну, отдернул занавески и распахнул ставни. Только я облокотился о подоконник, чтобы выглянуть во двор, как удивительный голос, молодой, чистый, девически нежный, запел прямо надо мной:

*Вот кто-то с горочки спустился,
Наверно, милый мой идет.*

*На нем защитна гимнастерка,
Она меня с ума сведет.*

Я замер, я боялся пошевелиться, я был словно зачарован мелодией, словами, голосом.

Я и прежде слышал эту песню несколько раз из репродуктора, но сегодня, в такой день, когда почти лето, в школе сданы экзамены и тебе скоро 14 лет, и такая погода, и ты один.

И все это так неожиданно, что от неясного чувства, охватившего меня, невольно сжалось сердце, и слезы набежали на глаза.

*На нем погоны золотые
И яркий орден на груди.
Зачем, зачем я повстречала
Его на жизненном пути?*

Продолжалась песня, трогая и волнуя мою душу.

Еще не прошло и десяти лет после окончания войны. Еще на улицах часто можно было встретить искалеченных войной, в том числе и молодых ребят, потерявших всякую надежду иметь семью, детей. Может быть, кто-то из них судьбой был предназначен именно этой девушке, поющей невыразимо трогательную песню, как песню-заклинание, как песню-плач по уже невозможному.

Кто ее автор? Нет у нее автора. Автор – народ. Она и могла родиться только в среде народа. Ее исполняли нечасто, чтобы не волновать, не будоражить, не бередить потихоньку заживающие раны войны.

*Зачем когда проходит мимо,
С улыбкой машет мне рукой?
Зачем он в наш колхоз приехал?
Зачем нарушил мой покой?*

С последними словами песни мне живо представилось, будто это я сам спускаюсь с горочки, на мне новая форма, на плечах золотые погоны, а на груди боевой орден.

Я молодой, сильный. Девчонки смотрят на меня, улыбаются, хотят понравиться. Но у меня на примете только одна, она самая красивая, самая ладная, самая-самая, никто с ней не сравнится и мое сердце принадлежит ей.

А она? Она та и есть, что поет эту песню. Только я пока не подаю вида, что она мне нравится, не решаюсь подойти и начать разговор. Но знаю, что все будет хорошо, что мы будем счастливы. Только вот надо решиться. Ну, если не сегодня, то завтра обязательно.

И я машу ей рукой, нет, не на прощанье, а на встречу, счастливую...

Я услышал, как певунья спрыгнула с подоконника, наверно, зашла одна из ее соседок по комнате, и тихо, чтобы не выдать себя, что подслушивал, пошел к двери.

